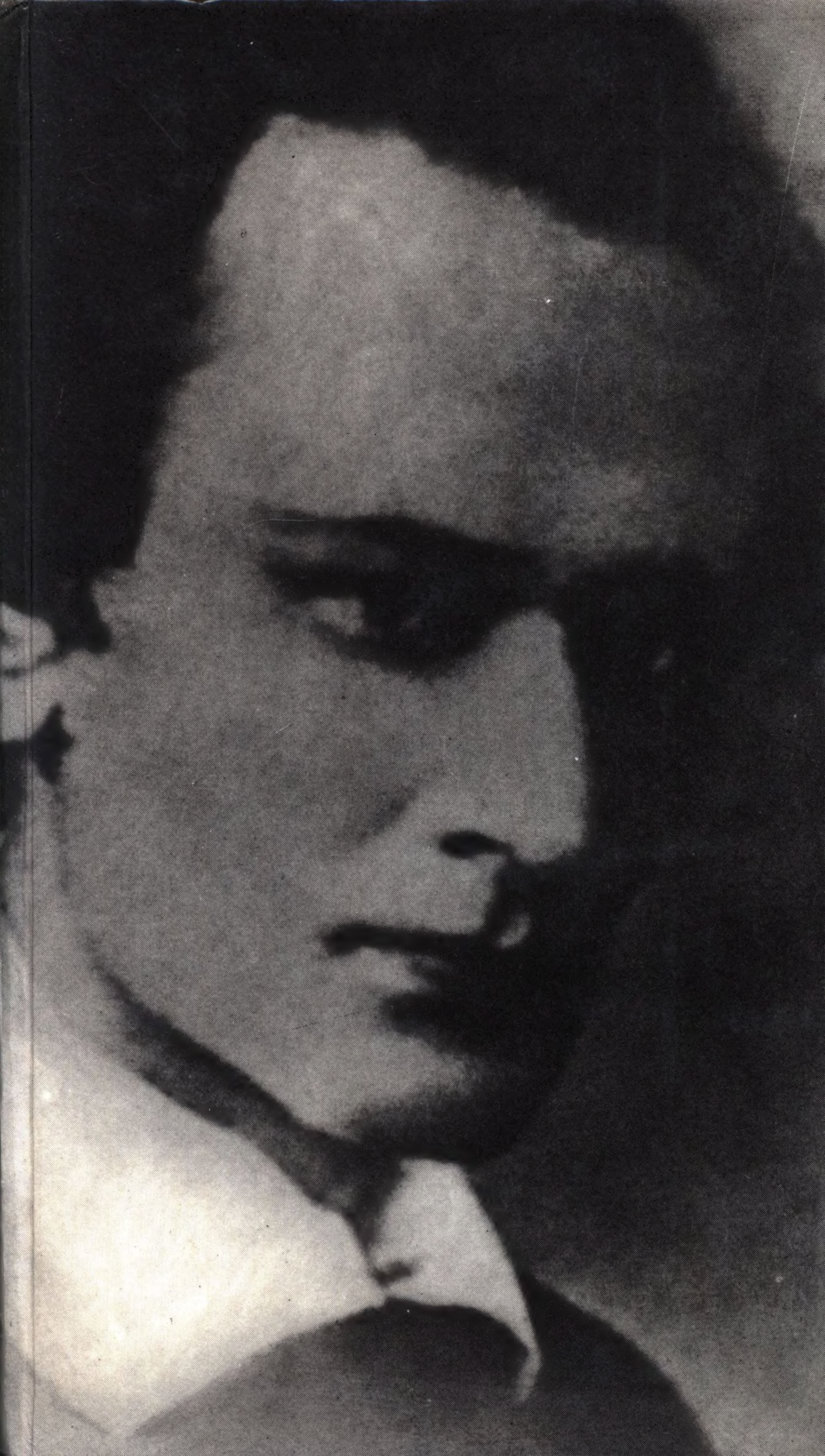


А муза и глохла, и слепла,
В земле истлевала зерном,
Чтоб после, как Феникс из пепла,
В эфире восстать голубом.

Анна Ахматова

ФЕНИКС

Из поэтического наследия XX века

Серия выходит с 1989 года

Даниил Андреев

РУССКИЕ БОГИ

СТИХОТВОРЕНИЯ И ПОЭМЫ

МОСКВА «СОВРЕМЕННИК»
1989

ББК 84Р7
А65

Составление и подготовка текста
А. А. Андреевой

Предисловие
М. Дудина

Послесловие и примечания
Б. Романова

А $\frac{4702010200-256}{М106(03)-89}$ 176-89

ISBN 5-270-00565-4

СВЕТ ИЗ ТЬМЫ

Эта книга написана во Владимирской тюрьме.

Эта книга написана ради утверждения жизни и справедливости.

Написал эту книгу Даниил Леонидович Андреев, сын классика русской литературы, одного из самых, в свое время, знаменитых русских писателей — Леонида Николаевича Андреева.

Даниил Андреев родился 2 ноября 1906 года. Мать его умерла сразу после родов, и он воспитывался в семье родной тетки по матери, жены московского врача Филиппа Александровича Доброва. Он считал эту семью своей родной семьей и поэтому не оказался вместе с семьей родного отца в вынужденной эмиграции.

Леонид Николаевич Андреев был фантастически талантливым человеком и этот свой редчайший талант передал по наследству своим детям — и Даниилу, и старшему брату Даниила, Вадиму. С Вадимом Леонидовичем я даже был знаком лично. Он, после скитаний по Европе, после активного участия в отрядах французского Сопротивления, работал в Советском представительстве в ООН, имел советский паспорт и выпускал свои талантливые книги в наших издательствах. Потом он жил в Швейцарии, там он и умер.

О Данииле Леонидовиче я был только смутно наслышан, а потом время свело меня с его рукописью «Русские боги», которую я прочел с чувством высокого и трагического сочувствия и удивления.

Вот, что он писал. Вот, что запало мне в душу сразу.

Если назначено встретить конец
Скоро,— теперь,— здесь —
Ради чего же этот прибой
Все возрастающих сил?

И почему в своевольных снах
Золото дум кипит,

Будто в жерло вулкана гляжу,
Блеском лавы слепим?

Кто и зачем громоздит во мне
Глыбами, как циклоп,
Замыслы, для которых тесна
Узкая жизнь певца?

Или тому, кто не довершит
Дело призванья — здесь,
Смерть — как распахнутые врата
К осуществленью т а м?

После этого я, естественно, не мог пройти мимо этой судьбы, убежденной в своей Правде, судьбы талантливой, упорной и мужественной.

А потом уже я узнал поломанные вехи его трагической жизни.

После окончания частной гимназии и каких-то Высших литературных курсов Даниил Андреев работал художником-оформителем. Эта работа была для заработка, а все остальное время было посвящено литературе — стихам и прозе.

На фронте во время Великой Отечественной войны, по состоянию здоровья, он был нестроевым солдатом — подносил патроны, хоронил убитых, был братом милосердия. В составе 196-й Стрелковой дивизии перебирался по ладожскому льду в блокадный Ленинград.

В 1945 году Даниил Андреев был демобилизован, а в 1947 году, вместе с женой, был арестован и после следствия, которое длилось полтора года, был осужден Особым совещанием, «тройкой» на 25 лет тюремного заключения.

Рукопись стихов и роман «Странники ночи» были сожжены. Некоторые стихи он потом восстановил по памяти, а роман пропал безвозвратно. На этот раз рукопись сгорела.

Десять лет он отсидел в тюрьме.

В 1957 году он был выпущен на свободу Комиссией по пересмотру дел политзаключенных, а позже полностью реабилитирован.

После инфаркта, перенесенного в тюрьме, на вольной воле он успел прожить два года, из кото-

рых более полугода провел на больничной койке. За это время он успел привести в порядок все, что ему удалось написать в тюрьме.

Я читал рукопись Даниила Андреева, читал и дивился характеру поэта, его таланту и самоотверженности.

Если созрел в тебе дух высокий,
Если не дремлет совесть твоя,—
Сдвинь своим праведным выбором сроки
Мук бытия.

Я дивился его благородной лирике и поэмам, этому своеобразному эпосу времени, для которого автору, подобно Уильяму Блейку, пришлось придумывать и выстраивать номенклатуру высших сил космоса и вселенной.

Но он не жаловался на судьбу.

Он был стойким и гордым, как это и положено подлинному поэту.

Он оперировал в своих поэмах историей России и связывал ее с будущим. Он верил в человека, в его духовную силу, в его мужество.

Он сам был примером мужества.

Он верил в свое назначение.

Поздний день мой будет тих и сух:
Синева безветренна, чиста;
На полянах сердца — горький дух,
Запах милый прелого листа.

Даль сквозь даль синеет, и притин
Успокоился от перемен,
И шелками белых паутин
Мирный прах полей благословен.

Это Вечной Матери покров
Перламутром осенил поля:
Перед бурями иных миров
Отдохни, прекрасная Земля.

Наследие Даниила Андреева, чудом возникшее, чудом сохранившееся и дошедшее до нас, достойно духовного внимания живущих наследников куль-

туры русского языка. Оно, это наследие, бьет из прошлого, из его мучительных провалов тьмы, бьет ясным и ярким светом Истины в наш тревожный день забот, надежд и прозрений.

Оно пытается помочь нам — и поможет.

М. Дудин

СТИХОТВОРЕНИЯ И ПОЭМЫ

ДРЕВНЯЯ ПАМЯТЬ

* * *

Мне радостно обнять чеканкой строк,
   Как влагу жизни — кубком пира,
Единство цели, множество дорог
   В живом многообразьи мира.

И я люблю — в передрассветный миг
   Чистейшую, простую негу:
Поднять глаза от этих мудрых книг
   К горящему звезда́ми небу.

Как радостно вот эту весть вдохнуть —
   Что по мерцающему своду
Неповторимый уготован путь
   Звезде,— цветку,— душе,— народу.

1935

ВОСХОД ДУШИ

* * *

Бор, крыши, скалы — в морозном дыме.
Финляндской стужей хрустит зима.
На льду залива, в крутом изломе,
Белеет зябнущих яхт корма.

А в Ваммельсу́у, в огромном доме,
Сукно вишневых портьер и тьма.

Вот кончен ужин. Сквозь дверь налево
Слуга уносит звон длинных блюд.
В широких окнах большой столовой —
Закат в полнеба, как Страшный суд.

Под ним становится снег багровым
И красный иней леса несут.

Ступая плавно по мягким сукнам,
По доскам лестниц, сквозь тихий дом
Подносит бабушка к страшным окнам
Меня пред детски-безгрешным сном.

Пылая, льется в лицо поток нам,
Грозя в молчаньи нездешним злом.

Он тихий-тихий... И в стихшем доме
Молчанью комнаты нет конца.
Молчим мы оба. И лишь над нами,
Вверху, высоко, шаги отца:

Он мерит вечер и ночь шагами,
И я не вижу его лица.

1935

ИГРУШЕЧНОМУ МЕДВЕДЮ, ПРОПАВШЕМУ ПРИ АРЕСТЕ

Его любил я и качал,
Я утешал его в печали;
Он был весь белый и урчал,
Когда его на спинку клали.

На коврике он долго днем
Сидел, притворно неподвижен,
Следя пушинки за окном
И крыши оснеженных хижин.

Читался в бусинках испуг
И легкое недоуменье,
Как если б он очнулся вдруг
В чужом, неведомом селеньи.

А чуть я выйду — и уж вот
Он с чуткой хитрецою зверя
То свежесть через фортку пьет,
То выглянет тишком из двери.

Когда же сетки с двух сторон
Нас оградят в постельке белой,
Он, прикорнув ко мне, сквозь сон
Вдруг тихо вздрогнет теплым телом.

А я, свернувшись калачом,
Шепчу, тревожно озабочен:
— Ну, что ты, Мишенька? о чем?
Усни. Пора. Спокойной ночи.

И веру холил я свою,
Как огонек под снежной крышей,
О том, что в будущем раю
Мы непременно будем с Мишей.

1951

* * *

Она читает в гамаке.
Она смеется — там, в беседке.
А я — на корточках, в песке
Мой сад ращу: втыкаю ветки.

Она снисходит, чтоб в крокет
На молотке со мной конаться...
Надежды нет. Надежды нет.
Мне — только восемь. Ей — тринадцать.

Зов на прогулку под луной
Она ко взрослым повторила.
И я один тащусь домой,
Перескочив через перила.

Она с террасы так легко
Порхнула в сумерки — как птица...
Я ж — допиваю молоко,
Чтоб ноги мыть и спать ложиться.

Куда ведет их путь? в поля?
Змеится ль меж росистых трав он?
А мне — тарелка киселя
И возглас фройлейн: «Шляфен, шляфен!»

А попоздней, когда уйдет
Мешающая фройлен к чаю,
В подушку спрячусь, и поймет
Лишь мать в раю, как я скучаю.

Трещит кузнечик на лугу,
В столовой — голоса и хохот...
Никто не знает, как могу
Я тосковать и как мне плохо.

Все пламенней, острей в груди
Вскипает детская гордыня,
И первый, жгучий плач любви
Хранится в тайне, как святыня.

1936

* * *

Есть кодекс прав несовершеннолетних:
Крик, драка, бег по краю крыш, прыжки,
Игра с дождем, плесканье в лужах летних,
Порт из камней, из грязи — пирожки.

О покорителях морей и суши
Читать, мечтать и, намечтавшись всласть,
Перемахнуть через заборы, красть
В саду зеленые, сырые груши

И у костра смолистого, в ночном,
Когда в росе пофыркивают кони,
Картофель, обжигающий ладони,
Есть перед сном — прохладным, свежим сном.

Мы — мальчики: мы к юному народу
Принадлежим и кровью и судьбой.
Бывает час, когда мы не на бой,
Но для игры зовем к себе природу,

С малиновками беглый свист скрестя,
Баюкаясь на сочных травах мая
Иль брызги блещущие поднимая
И по песку горячему хрустя.

Текут года, нам не даруя дважды
Беспечных лет восторг и широту,
Но жизнь щедра, и в жизни ведал каждый
Хоть раз один живую щедрость ту.

1936

СТАРЫЙ ДОМ

Памяти
Филиппа Александровича Доброва

Бузина на решетке,
Где ни троп, ни дорог нет,
Словно в чарах старого сна.
Только изредка вздрогнет
Тарахтящей пролеткой
Тишина.

Где бесшумны и нежны
Переулки Арбата,
Вековой этот дух-чародей
Здесь воздвигнул палаты,
Что похожи на снежных
Лебедей.

Еще помнили деды
В этих мирных усадьбах
Хлебосольный аксаковский кров,
Многолюдные свадьбы,
Торжества и обеды,
Шум пиров.

И о взоре орлином
Победителя-галла,
Что прошел здесь, в погибель ведо́м,
Мне расскажет, бывало,
Зимним вечером длинным
Старый дом.

Два собачьих гиганта
Тихий двор сторожили,
Где цветы и трава до колен,
А по комнатам жили
Жизнью дум фолианты
Вдоль стен.

Игры в детской овеяв
Ветром ширей и далей
И тревожа загадками сон,

В спорах взрослых звучали
Имена корифеев
Всех времен.

И на двери наружной,
Благодушной и верной,
«Доктор Добров» — гласила доска,
И спокойно и мерно
Жизнь текла здесь — радушна,
Широка.

О, отец мой — не кровью,
Доброй волею ставший!
Милый Дядя,— наставник и друг!
У блаженных верховий
Дней начальных — питавший
Детский дух!

Слышу Вечную Память,
Вижу свечи над гробом,
Скорбный блеск озаряемых лиц,
И пред часом суровым
Трепеща преклоняюсь
Снова ниц.

В годы гроз исполинских,
В страшный век бурелома
Как щемит этот вкрадчивый бред:
Нежность старого дома,
Ласка рук материнских,
Лица тех, кого нет!

1950

РАЗНЫЕ СТИХИ

* * *

За днями дни... Дела, заботы, скука
Да книжной мудрости отбитые куски.
Дни падают, как дробь, их мертвенного стука
Не заглушит напев тоски.

Вся жизнь — как изморось. Лишь на устах осанна.
Не отступаю вспять, не настигаю вскачь.
То на таких, как я, презренье Иоанна —
Не холоден и не горяч!

1928

* * *

Милый друг мой, не жалей о старом,
Ведь в тысячелетней глубине
Зрело то, что грозовым пожаром
В эти дни проходит по стране.

Вечно то лишь, что нерукотворно.
Смерть — права, ликуя и губя:
Смерть есть долг несовершенной формы,
Не сумевшей выковать себя.

1935

* * *

Лечь в тебя, горячей плоти родина,
В чернозем, в рассыпчатый песок...
Над глазами расцветет смородина —
Терпких ягод кисловатый сок.

Тихий корень, прикоснись к груди моей,
Выпей кровь из охладевших жил,
Мчи ее наверх, в поля родимые,
Где когда-то я дышал и жил.

Осенью лиловые и красные
Гроздья ягод птицы поклюют...
Где конец твоим высоким странствиям,
Плоть моя, где для тебя приют?

1935

* * *

Вижу, как строится, слышу, как рушится.
Все холодней на земной стезе...
Кто же нам даст железное мужество,
Чтобы взглянуть в глаза грозе?

Сегодня с трибуны слово простое
В громе оваций вождь говорил.
Завтра обломки дамб и устоев
Жадно затянет медленный ил.

Шумные дети учатся в школах.
Завтра — не будет этих детей.
Завтра — дожди на равнинах голых,
Месиво из чугуна и костей.

Скрытое выворотится наружу.
После замолкнет и дробь свинца.
И тихое зеркало в красных лужах
Не отразит ничьего лица.

1937

* * *

А. А.

Все безвыходней, все многотрудней
Длились годы железные те,
Отягчая оковами будней
Каждый шаг в роковой нищете.

Но прошла ты по темному горю,
Легкой поступью прах золотя,
Лишь с бушующим демоном споря,
Ангел Божий, невеста, дитя.

Расцвела в подвенечном уборе
Белой вишнею передо мной,
И казалось, что южное море
Заиграло сверкавшей волной.

С недоверием робким скитальца,
Как святынь, я касался тайком
Этих радостных девичьих пальцев,
Озаренных моим очагом.

Гром ударил. В какой же ты ныне
Беспросветной томишься глуши,
Луч мой, радость, подруга, — богиня
Очага моей темной души?

Оглянись: уже полночь разлуки
За плечами и мрак поредел,—
Слышу издали милые руки
И наш общий грядущий удел!

И по-прежнему вишней цветущей
Шелестишь ты во сне для меня
О весенней, всемирной, грядущей
Полноте подошедшего дня.

1950

* * *

А. А.

Как чутко ни сосредотачиваю
На смертном часе взор души —
Опять все то же: вот, покачивая
Султаном, веют камыши,

И снова белый флигель,— келейка,
Сентябрьским солнцем залита,
Крыльцо, от смол пахучих клейкое,
И ты: такая ж — и не та.

Такими хрупко-невесомыми
Цветы становятся к зиме;
Так лес предсмертною истомою
Горит в червонной бахроме.

Пока не хлынет море вечности,
Пока над нами — бирюза,
Смотреть, смотреть до бесконечности
В еще лазурные глаза.

Еще раз нежностью чуть слышною
Склонись, согрей, благослови,
Неувядающею вишнею
Расцветшая в стране любви!

1950

ДРУГУ

Не омрачай же крепом
Солнечной радости дня,
Плитою, давящим склепом
Не отягчай меня.

В бору, где по листьям прелым
Журчит и плещет ручей,
Пусть чует сквозь землю тело
Игру листвы и лучей.

С привольной пернатой тварью
Слей песню и погрусти.
Ромашке, иван-да-марье
Над прахом моим расти.

И в зелени благоуханной
Родимых таежных мест
Поставь простой, деревянный,
Осьмиконечный крест.

1936, 1950

* * *

Медленно зреют образы в сердце,
Их колыбель тиха,
Но неизбежен час самодержца —
Властвующего стиха.

В камеру, как полновластный хозяин,
Вступит он, а за ним
Ветер надзвездных пространств и тайн
Вторгнется, как херувим.

Страх, суету, недоверие, горе —
Все разметав дотла,
Мчат над городами и морем
Крылья стиха-орла.

Жгучий, как бич, и легкий, как танец,
Ясный, как царь к венцу
Скоро он — власть имеющий — станет
С миром лицом к лицу.

Жду тебя, светоча и денницу,
Мощного, как судьба,
Жду, обесчещен позором темницы,
Мечен клеймом раба.

1955

КРЕСТ ПОЭТА

Темен жребий русского поэта...

М. Волошин

ГРИБОЕДОВ

Бряцающий напев железных строф Корана
Он слышал над собой сквозь топот тысяч ног...
Толпа влачила труп по рынкам Тегерана,
И щебень мостовых лицо язвил и жег.

Трещало полотно, сукно рвалось и мокло,
Влачилось клочьями, тащилось бахромой...
Давно уж по глазам очков разбитых стекла
Скользнули, полоснув сознанье вечной тьмой.

— Алла́! О, энталь-хакк! — раскатами гремели
Хвалы, глумленье, вой.— Алла! Алла! Алла!..—
...Он, брошенный, лежал во рву у цитадели,
Он слушал тихий свист вороньего крыла.

О, если б этот звук, воззвав к последним силам,
Равнину снежную напомнил бы ему,
Усадьбу, старый дом, беседу с другом милым
И парка белого мохнатую кайму.

Но если шелест крыл, щемящей каплей яда
Сознанье отравив, напомнил о другом:
Крик воронья на льду, гранит Петрова града,
В морозном воздухе — салютов праздный гром,—

Быть может, в этот час он понял — слишком поздно,—
Что семя гибели он сам в себе растил,
Что сам он принял рок империи морозной:
Настиг его он здесь, но там — поработил;

Его, избранника надежды и свободы,
Чей пламень рос и креп над всероссийским сном,
Его, зажженного самой Душой Народа,
Как горькая свеча на клиросе земном.

Смерть утолила все. За раной гаснет рана,
Чуть грезятся еще снега родных равнин...
Закат воспламенил мечети Тегерана
И в вышине запел о Боге муэдзин.

1936

ГУМИЛЕВ

«...Ах, зачем эти старые сны:
Бури, плаванья, пальмы, надежды,
Львиный голос далекой страны,
Люди черные в белых одеждах...
Там со мною, как с другом, в шатре
Говорил про убитого сына,
Полулежа на старом ковре,
Император с лицом бедуина...

Позабыть. Отогнать. У ручья
Все равно никогда не склониться,
Не почувствовать, как горяча
Плоть песка, и воды не напиться...
Слышу подвига тяжкую власть,
И душа тяжелеет, как колос:
За Тебя — моя ревность и страсть,
За Тебя — моя кровь и мой голос.

Разве душу не Ты опалил
Жгучим ветром страны полуденной,
Мое сердце не Ты ль закалил
На дороге, никем не пройденной?
Да, одно лишь сокровище есть
У поэта и у человека:
Белой шпагой скрестить свою честь
С черным дулом бесчестного века.

Лишь последняя ночь тяжела:
Слишком грузно течение крови,
Слишком помнится дальняя мгла
Над кострами свободных становий...
Будь спокоен, мой вождь, господин,
Ангел, друг моих дум, будь спокоен:
Я сумею скончаться один,
Как поэт, как мужчина и воин».

1935

ХЛЕБНИКОВ

Как будто музыкант крылатый —
Невидимый владыка бури —
Мчит олимпийские раскаты
По сломанной клавиатуре.
Аккорды... лязг... И звездный гений,
Вширь распластав крыла видений,
Вторгается, как смерть сама,
В надтреснутый сосуд ума.

Быт скуден: койка, стол со стулом.
Но все равно: он витязь, воин;
Ведь через сердце мчатся с гулом
Орудия грядущих боен.
Галлюцинант... глаза — как дети...
Он не жилец на этом свете,
Но он открыл возврат времен,
Он вычислил рычаг племен.

Тавриз, Баку, Москва, Царицын
Выплевывают оборванца
В бездомье, в путь, в вагон, к станицам,
Где ветр дикарский кружит в танце,
Где расы крепли на просторе:
Там, от азийских плоскогорий,
Снегов колебля бахрому,
Несутся демоны к нему.

Сквозь гик шаманов, бубны, кольца,
Все перепутав, ловит око
Тропу бредущих богомольцев
К святыням вечного Востока.
Как феникс русского пожара,
ПРАВИТЕЛЕМ ЗЕМНОГО ШАРА
Он призван стать — по воле *«ка»!*
И в этом — Вышнего рука.

А мир-то пуст... А жизнь морозна...
А голод точит, нудит, ноет...
О, голод, смерть — защитник грозный

От рож и плясок паранойи!
Исправить замысел безумный
Лишь ты могла б рукой бесшумной.
Избавь от будущих скорбей:
Сосуд надтреснутый разбей.

1940

УСТЬЕ ЖИЗНИ

* * *

Поздний день мой будет тих и сух:
Синева безветренна, чиста;
На полянах сердца — горький дух,
Запах милый прелого листа.

Даль сквозь даль синеет, и притин
Успокоился от перемен,
И шелками белых паутин
Мирный прах полей благословен.

Это Вечной Матери покров
Перламутром осенил поля:
Перед бурями иных миров
Отдохни, прекрасная земля.

1950

* * *

Так лучистая Звезда Скитаний,
Моя лазурная Вега
Остановится над куполом дома
И молодыми соснами,
Дружелюбным лучом указуя
Место упокоения.

Как подробно, до боли, вижу
Убранство флигелей и комнат,
Лужайки для игр,
Пляж и балконы,
А за лукою реки — колокольни
Дальнего города и монастыря.

Быть может, об этом надо молчать,
Даже и щели не приоткрывая
В круг отстоявшегося мечтанья
Никому?

Но если молчать об этом —
Что же делать с другим,
В самом деле не доверяемом
Ни стиху, ни исповеди, ни другу,
Разве только земле?

Впрочем, все тайное
Станет явным,
Когда пробьет срок.
Только рано еще,
Ах как рано...

Ты, Звезда Скитаний,
Знающая мое сердце!
Путеводный светоч
Неисповедимой жизни!
Голубая девочка,
Смеющаяся в небе!

Ты сама знаешь, где остановиться
И когда.

1950

* * *

Уж не грустя прощальной грустью,
Медлительна и широка,
Все завершив, достигла устья
Благословенная река.

Обрывы, кручи и откосы
Все ниже, ниже — и разлив
Песчаные полощет косы,
Простор на версты охватив.

Лишь редко, редко над осокой,
В пустынной дали без границ,
Темнеет тополь одинокий —
Пристанище заморских птиц.

Но тем волшебнее их пенье,
Их щебеты по вечерам:
За это умиротворенье
Все песни жизни я отдам.

Отдам их блещущему морю,
Горящему навстречу мне
В неувядающем уборе,
В необжигающем огне.

Обнявшись с братом-небосклоном,
Оно лазурно, как в раю...
Прими ж в отеческое лоно
Тебя нашедшую струю!

1950

ЗЕЛЕНОЮ ПОЙМОЙ

РУССКИЕ ОКТАВЫ

Мой край душистыми долинами
Цветет меж дедовского бора.
Сосновых толп живые хоры
Поют прокимн, поют хвалу,
И множествами журавлиными
Лесные шелестят болота —
Заклятью верные ворота
В непроницаемую мглу.

Сквозь эту сказку вечно детскую
Прочтет внимательная совесть
Усобиц, бурь, разбоев повесть
В преданьях хмурых деревень,
Где помнят ярость половецкую
Во ржи уснувшие курганы,
Где лес берег от ятагана
Скитов молитвенную сень.

Разгулом, подвигом, пожарами,
Самосожженьями в пустыне
Прозванья сел звучат доныне:
Святое, Темное, Погар...
А под зарницами, за хмарами,
У гаснущей в цветах дороги,
Бдят непостигнутые боги
Грядущих вер и светлых чар.

Еще таинственней, вневре́менней
Живую глубь стихий почует,
Кто у костра один ночует
Над дружелюбною рекой,
Кто в этой вещей, мудрой темени
Души Земли коснется страстной,

Даст путь раскрыться ей, безгласной,
И говорить с его душой.

Здесь на полянах — только аисты,
И только цаплями изучен
Густой камыш речных излучин
У ветхого монастыря.
Там, на откосы поднимаясь, ты
Не обоймешь страну очами,
С ее бескрайними лесами,
Чей дух господствует, творя.

Есть в грозном их однообразии
Тишь притаившегося стана,
Есть гул бездонный океана,
Размах вселенской мощи есть.
Есть дремлющий, как в недрах Азии,
Еще для мира не рожденный,
Миф, человечеству сужденный —
Грядущего благая весть.

В ней сочетались смолы мирные —
Дары языческого рая,
И дымных келий синь святая —
Тоска о горней высоте,
А ветер голоса всемирные
От городов несет и моря,
С былою замкнутостью споря
За русские просторы те.

И если раньше грань отечества
Сужала наш размах духовный
И замыкался миф верховный
В бревенчатую тесноту,—
Теперь простор всечеловечества
Ждет вестника, томится жаждой,
И из народов примет каждый
Здесь затаенную мечту.

Нет, не державность, не владычество —
Иное крепнет здесь решенье:
Всех стран — в сады преображенье,

А государства — в братство всех.
И страстные костры язычества,
И трепет свеч в моленьи клирном —
Все — цепь огней в пути всемирном,
Ступени к Богу, звезды вех.

К преддверью тайны уведите же
Вы, неисхоженные тропы,
Где искони́ с лучом Европы
Востока дальний луч скрещен,
Где о вселенском граде Китеже
Вещает глубь озер заросших,
Где спят во вьюгах и порошах
Побеги будущих времен.

1950

* * *

Исчезли стены разбегающиеся,
Пропали городские зданья:
Ярчеют звезды зажигающиеся
Любимого воспоминанья.

Я слышу, как в гнездо укладываются
Над дремлющим затоном цапли,
Как сумерки с лугов подкрадываются,
Роняя голубые капли;

Я вижу очертаний скрадываемых
Клубы и пятна... мошки, росы...
Заречных сел, едва угадываемых,
Лилово-сизые откосы;

Возов, медлительно поскрипывающих,
Развалистую поступь в поле;
Взлет чибисов, визгливо всхлипывающих
И прядающих ввысь на воле...

И в грезе, жестко оторачиваемой
Сегодняшнею скорбной былью,
Я чувствую, как сон утрачиваемый,
Своей души былые крылья.

1950

ВЕСНОЙ С ХОЛМА

С тысячелетних круч, где даль желтела нивами
Да темною парчой духмяной конопли,
Проходят облака над скифскими разливами —
Задумчивая рать моей седой земли.

Их белые хребты с округлыми отрогами
Чуть зыблются, дрожа в студеных зеркалах,
Скользят — скользят — плывут подводными дорогами,
И подо мной — лазурь, вся в белых куполах.

И видно, как, сходя в светящемся мерцании
На медленную ширь, текущую по мху,
Всемирной тишины благое волхвование,
Понятное душе, свершается вверху.

Широко распластав воздушные воскрылия,
Над духами стихий блистая как заря,
Сам демиург страны в таинственном усилии
Труждается везде, прах нив плодотворя.

Кто мыслью обоймет безбрежный замысл Гения?
Грядущее прочтет по диким пустырям?
А в памяти звенит, как стих из песнопения:
«Разливы рек ее, подобные морям...»

Все пусто. И лишь там, сквозь клены монастырские,
Безмолвно освещен весь белый исполин...
О, избранной страны просторы богатырские!
О, высота высот! О, глубина глубин!

1950

* * *

Чуть колышется в зное,
Еле внятно шурша,
Тихошумная хвоя,
Стран дремучих душа.

На ленивой опушке,
В землянике у пней,
Вещий голос кукушки
Знает счет моих дней;

Там, у отмелей дальних —
Белых лилий ковши;
Там, у рек беспечальных,
Жизнь и смерть хороши.

Скоро дни свои брошу
В эту мягкую глубь...
Облегчи мою ношу,
Приласкай, приголубь.

1939

ЛЕСНАЯ КРОВЬ

* * *

Есть праздник у русской природы:
Опустится шар огневой —
И будто прохладные воды
Сомкнутся над жаркой землей.

Светило прощально и мирно
Алеет сквозь них и листву,
Беззнойно, безгневно, эфирно,—
Архангельский лик наяву.

Еще не проснулись поверья,
Ни сказок, ни лунных седин,
Но всей полнотой предвечерья
Мир залит, блажен и един.

Росой уже веет из сада
И сладко — Бог весть почему,
И большего счастья не надо
Ни мне, ни тебе, никому.

1936

* * *

Ни грядущая тьма, ни былое
Не зальет эти мирные дни
На извилинах чащ, где смолою
Золотятся янтарные пни.

Что звало, и звучало, и снилось,
Все сбылось в этом старом бору,
Как подарок, как мудрость и милость,
Для которой я жил и умру.

1936

ЯНТАРИ

М. Г.

* * *

Воздушным, играющим гением
То лето сошло на столицу.
Загаром упала на лица
Горячая тень от крыла,—
Весь день своенравным скольжением
Бездумно она осеняла
Настурции, скверы, вокзалы,
Строительства и купола.

И, на тротуар ослепительный
Из комнаты мягко-дремотной,
Уверенный и беззаботный,
В полдневную синь выходя,
В крови уносил я медлительный,
Спадающий отзвук желанья
Да тайное воспоминанье
О плеске ночного дождя.

А полдень — плакатами, скрипами,
Звонками справлял новоселье,
Роняя лучистое зелье
На крыши и в каждый квартал;
Под пыльно-тенистыми липами
Он улицею стоголосой
Со щедрым радушьем колосса
На пиршество шумное звал.

И в зелени старых Хамовников,
И в нежности Замоскворечья
Журчащие, легкие речи
Со мной он, смеясь, заводил;
Он знал, что цветам и любовникам
Понятны вот эти мгновенья —

Дневное головокруженье,
Игра нарастающих сил.

Каким становилась сокровищем
Случайная лужица в парке,
Гранитные спуски, на барке —
Трепещущих рыб серебро,
И над экскаватором роющим
Волна облаков кучевая,
И никель горячий трамвая,
И столик в кафе, и ситро.

Былую тоску и расколотость
Так странно припомнить рассудку,
Когда в мимолетную шутку
Вникаешь, как в мудрость царя,
И если предчувствует молодость
Во всем необъятные дали,
И если бокал цинандали
Янтарно-звенящ, как заря.

Ведь завтра опять уготовано
Без ревности и без расплаты
Июньскою ночью крылатой
Желанное длить забытье,
Пока в тишине околдованной
Качается занавес пестрый,
Прохладой рассветной и острой
Целуемый в окнах ее.

* * *

Усни,— ты устала... Гроза отгремела,
Отпраздновал ливень ночную весну...
Счастливому сердцу, счастливому телу
Пора отойти к беспечальному сну.

Светает... Свежеет... И рокот трамвайный
Уже долетел с голубых площадей.
Усни,— я мечтаю над нашею тайной —
Прекрасною тайной цветов и детей.

И кажется: никнет бесшумная хвоя,—
Листва ли коснулась ресниц на весу?
Быть может, блаженные Дафнис и Хлоя
Дремали вот так в первозданном лесу.

Как будто сомкнулись прохладные воды,
Баюкая нас в колыбелях земли,
Скользящие тени с прозрачного свода
Поют, что над нами плывут корабли.

Плывут, уплывают... А сумрак все ниже,—
Прощальную сказку шепчу кораблю...
Не думай: я здесь, я с тобою... Усни же,
Как я над рукой твоей милой дремлю.

* * *

В жгучий год, когда сбирает родина
Плод кровавый с поля битв; когда
Шагом бранным входят дети Одина
В наши дрогнувшие города;

В дни, когда над каждым кровом временным
Вой сирен бушует круговой
И сам воздух жизни обесцененной
Едко-сух, как дым пороховой,—

В этот год само дыханье гибели
Разомкнуло память дней былых,
Давних дней, что в камне сердца выбили
Золотой, еще не петый стих,

Как чудесно, странно и негаданно
Этот стих рождался — о тебе,
Без раздумий, без молитв, без ладана,—
Просто — кубок в золотой резьбе.

И прошла опять, как в сонном празднике,
Череда необратимых дней,—
Наше солнце, наши виноградники,
Пена бухт и влажный мох камней.

Может быть, таким лучом отмечено
Наше сердце было только раз,
И непоправимо искалечены
Будем мы железной битвой рас.

Пусть же здесь хранится в звонком золоте
Этот мед янтарный и густой,—
Наша радость, наша кровь и молодость —
Дней былых сияющий настой.

* * *

И не избавил город знойный
    От темных дум,
Клубя вокруг свой беспокойный,
    Нестройный шум.
Как острия протяжных терний,
    Любой вокзал
Свои гудки из мглы вечерней
    В мой дух вонзал.

Белесой гарью скрыт, как ватой,
    Небесный румб;
Росток засох голубоватый
    У пыльных клумб.
Скучая, вновь сойдутся люди
    У тусклых ламп;
Еще плотней сомкнутся груди
    Громад и дамб...

Что без тебя мне этот город,
    И явь, и сны,
Вся ширь морей, поля и горы
    Моей страны?
Не верю письмам, снам не верю,
    Ни ворожбе
И жизнь одним порывом мерю:
    К тебе! К тебе!

* * *

Свисток. Степную станцию готов оставить поезд.
В замусоренном садике качнулись тополя,
Опять в окно врывается ликующая повесть
Полей, под солнцем брошенных, и ровная земля.

Привольный воздух мечется и треплет занавески,
Свистит ветрами шустрыми над плавнями Днепра,
Чтоб окоем лазоревый топить в лучистом блеске,
Купая в страстном мареве луга и хутора.

И если под колесами застонут рельсы громче
И зарябят за окнами скрещенья ферм нагих —
Реки широкоблещущей мелькнет лазурный кончик,
Смеющийся как девушка и плавный точно стих.

Ах если б опиралась ты о спущенную раму,
Играя занавесками вот этого окна,—
Ты, солнечная, юная, врачующая раны,
Желанная и ясная, как первая весна!

Уж розовеют мазанки закатом Украины,
И звезды здесь огромные и синие как лен,
А я хочу припомниться тебе на миг единый,
Присниться сердцу дальнему, как самый легкий сон.

* * *

Я помню вечер в южном городе,
В сухом саду ночлег случайный,
И над приморскою окрайной
Одну огромную звезду:
Твердыней генуэзской гордости
Под нею крепость вырезалась
И коронованной казалась
Сквозь тамариск в моем саду.

Я знал: вдали, за морем плещущим,
За этой роскошью сапфирной,
В ином краю дремоте мирной
Ты в эту полночь предана,
Но будет час — и утром блещущим
Ты с корабля сойдешь по сходням
Сюда, где кровь моя сегодня
Тебя зовет и ждет без сна.

Без сна... как долго сон медлительный
Ко мне в ту ночь не наклонялся!
С амфитеатра ритмы вальса
Лились кружащимся ручьем
И, учащая пульс томительный,
Твердили о чужом веселье,
О чьем-то юном новоселье,
Об отдаленном счастье... чьем?

Они утихли только за полночь,
Но слабый шум не молк... откуда?
Иль город ровным, крепким гудом
Дышал в горячем забытьи?
Иль, страстную внушая заповедь
Моей душе, неуловимо
Во мне стучало сердце Крыма
И направляло сны мои?

И я постиг во сне, как в празднике,
Лицо его утесов черных,
Полынь его лугов нагорных

И троп, кривых как ятаган,
Его златые виноградники,
Его оград булыжный камень
И плиты, стертые веками
В святилищах магометан.

А там, у бухт, на побережии,
Гордясь свободным, темным телом,
Шли, улыбаясь, люди в белом —
Таких счастливых нет нигде,—
И в этот край, живая, свежая,
От корабля путем желанным
Сошла ты солнцем долгожданным
По еле плещущей воде.

* * *

Кто там: медуза? маленький краб ли
Прячется вглубь, под камни?..
Светлые брызги! Звонкие капли!
Как ваша мудрость легка мне.

Ночью бродил я по сонным граням,
Вскакивал, грезил, бредил —
Как же не знал я, что утром ранним
Встал пароход на рейде?

И почему, увидав над дорогой
Пятнышко голубое,
Бросился к ней — гоним тревогой,
Мимо громад прибоя.

Мимо скамьи в уютной пещере,
Мимо оград, колодца...
Остановилась,— ждала, не веря:
Что за чудак несется.

Дремлют в ее серебристом взоре
Царств утонувших камни...
Белые дни! Янтарные зори!
Как ваша песнь легка мне!

* * *

Убирая завтрак утренний,
Ты звенишь и напеваешь
И сметаешь крошки хлеба
Прямо в светлую ладонь.
В доме нежен сумрак внутренний,
А в окошке — синева лишь,—
То ли море, то ли небо —
Утра крымского огонь.

Хочешь — мы сквозь виноградники
По кремнистым перелогам
Путь наметим полуденный
На зубчатый Тарахташ?
Там — серебряный, как градинки,
Мы попробуем дорогой
У татар миндаль соленый
И вино из плоских чаш.

Меж пугливыми отарами
Перевал преодолеем,
И пустыня нам предстанет
Вдоль по желтому хребту,
Будто выжженная карами,
Ураганом, суховеем,
Где лишь каперсы, как стая
Белых бабочек, в цвету.

И ни возглас человеческий,
Ни обвалов грозный голос
Не нарушит вековую
Тишь, открытую лучу,
Чтобы горы стали к вечеру
Облекать свой камень голый
В золотую, в голубую
Литургийную парчу.

И, синея дымкой дальнею,
Розовея, лиловея,
Череду всех красок мира

Сменят в стройном бытии,
Как во храме в ночь пасхальную
Чередуют иереи
Многоцветные подиры —
Розы пышные свои.

День открыт нам всеми гранями:
Ритмом волн, блаженным жаром,
Родниками, легкой ленью,
Стайкой облаков, как пух,
Чтоб, влекомые желаньями,
Шли мы вдаль, в его селенья,
За бесценным Божьим даром —
Страстью двух — и счастьем двух.

* * *

Оранжевой отмелью, отмелью белой
Вхожу в тебя, море, утешитель мой.
Волной, обнимающей душу и тело,
От горечи, пыли и праха омой.

Лишь дальних холмов мягко выгнутый выем
Да мирных прибрежий златые ковши
Увидят причастье безгрешным стихиям
Открытой им плоти и жгучей души.

Лучистые брызги так ярко, так близко
Сверкают, по телу скользя моему;
Я к доброму Солнцу, как жертвы, как искры,
Звенящую радугу их подниму!

* * *

Мы возвращались с диких нагорий,
И путь лежал вдоль самой воды;
Безгрозным бризом дышало море,
Лаская и сглаживая наши следы.

И бриз был праздничным, вечно юным,
Как будто с лугов Олимпийских нес
Он радость богов для всей подлунной,
Для сердоликов, людей, мимоз.

Уже вечерело, и дом был близок —
Наш старый дом на милом холме;
Мы знали: он будет, как добрый призрак,
Белеть навстречу в горячей тьме.

Мы знали: там, на веранде зыбкой,
Увидим мы бедные руки той,
Кто все это лето нам светит улыбкой,
Старческой мягкостью и добротой.

И будет пленительно сочетанье
У доброй феи любовных дней
Шутливой речи, глаз грустной лани
И строгого лба старинных камей.

А после, в саду, сквозь ветки ореха
Тропических звезд заблестит река,
И ночь обнимет нас смутным эхом
Прибоя у дальних скал Алчака...

Мы шли — и никто во всем в мирозданьи
Не властен был радость мою превозмочь,—
Спокойную радость, простое знанье,
Что ты — со мной и что будет ночь.

* * *

Свеча догорает. Я знаю:
Над нами — бездонное море...
Какая дремучая тишь!

Усни: к несравненному раю
Свела ты старинное горе
Души моей терпкой... Ты спишь?

А в горном собратстве на страже
Луной Тарахташ серебрится,
И, в лунную кроясь фату,

Над сонмом склонившихся кряжей
Созвездья стоят как божница,—
Торжественный зов в высоту.

О нет, высота не сурова,—
Там молятся о человеке...
Ты дремлешь? Ты слышишь меня?

Не вздох, не ответ,— полуслово...
Рука недвижима; лишь веки
Раскрылись, дремоту гоня.

Природа с такими очами
Зачатье у райского древа
От духа высот приняла...

Дитя мое! Девочка в храме
С глазами праматери Евы,
Еще не постигшими зла!

Свеча догорела. Над Крымом
Юпитер плывет лучезарно,
Наполненный белым огнем...

Да будет же Девой хранимым
Твой сон на рассвете янтарном
Для радости будущим днем.

* * *

Я любил эти детские губы,
Яркость речи и мягкость лица:
С непонятною нежностью любят
Так березу в саду у отца.

Лишь порой этот ласковый говор
Отходил, замерев как волна,
Обнажая для солнца другого
Скорбный камень пустынного дна.

Сквозь беседы веранд многолюдных
Вспоминал я заброшенный путь
К ледникам, незабвенным и скудным,
Где от снежных ветров — не вздохнуть,

Где встречал я на узкой дороге
Белый призрак себя самого,
Небывало бесстрастный и строгий,
Прокаливший дотла естество...

И так сумрачно было, так странно
Слушать голос, родной как сестра,
Звавший вновь осушать невозбранно
Кубок радостной тьмы до утра.

* * *

Сохраню ль до поздних лет, до старости,
До своей предсмертной тишины
Грустный камень нежной благодарности,
Неизбежной боли и вины?
Ведь не в доме, не в уютном тереме,
Не в садах изнеженной весны —
В непроглядных вьюгах ты затеряна,
В страшный год безжалостной войны.

Лишь не гаснут, легкие как вестницы,
Сны о дальнем имени твоем,
Будто вижу с плит высокой лестницы
Тихий-тихий светлый водоем,
Будто снова в вечера хрустальные
Мы проходим медленно вдвоем
И опять, как в дни первоначальные,
Золотую радость жизни пьем!

ВЕХИ СПУСКА

ВАЛЬС НА ЗАРЕ

Все отступило: удачи и промахи...
 Жизнь! Тайники отмыкай!
Веет, смеется метелью черемухи
 Благоухающий май.

Старая школа, родная и душная,
 Ульем запела... и вот —
Вальсов качающих трели воздушные
 Зал ослепительный льет.

С благоволящим спокойствием дедушки —
 Старший из учителей...
В белом все мальчики, в белом все девушки,
 Звезды и пух тополей.

Здравствуй, грядущее! К радости, к мужеству
 Слышим твой плещущий зов!
Кружится, кружится, кружится, кружится
 Медленный вихрь лепестков.

Марево Блока, туманы Есенина
 И, веселее вина,
Шум многоводного ливня весеннего
 Из голубого окна.

Кружево — зеленоватое кружево,
 Утренний мир в серебре...
Все отступило, лишь реет и кружится,
 Кружится вальс на заре.

1935

ПОХМЕЛЬЕ

* * *

Без небесных хоров, без видений
Дни и ночи тесны, как в гробу.
Боже! Не от смерти — от падений
Защити бесправную судьбу!

Чтоб, истерзан суетой и смутой,
Без любви, без подвига, без сил
Я стеной постыдного уюта
В час борьбы себя не оградил.

Чтоб, дымясь по выжженным оврагам
И переступая чрез тела,
Тьма войны непоправимым мраком
Мечущийся ум не залила.

Помоги напевы те, что ночью
Создавать повелеваешь Ты,
В щель, не предугаданную зодчим,
Для столетней прятать немоты.

Научи, как дивного венчанья
Ждать бесцельной гибели своей,
Сохранив лишь медный крест молчанья —
Честь и долг поэта наших дней.

Если же пойму я, что — довольно,
Что не будет Твоего гонца —
Сохрани меня от добровольной
Пули из тяжелого свинца!

1937

НЕМЕРЕЧА

Поэма

Посвящается Филиппу Александровичу и Елизавете Михайловне Добровым, моим приемным отцу и матери

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Я — прохладные воды, текущие ночью,
Я — пот людской, льющийся днем.

Гарвэй

1

Едва умолкли гром и ливни мая,
На вечный праздник стал июнь похож:
Он пел, он цвел, лелея, колыхая
И душный тмин, и чаши мальв, и рожь.
Луг загудел, как неумолчный улей.
От ласточек звенела синева...
Земля иссохла. И в созвездье Льва
Вступило солнце. Жгучий жар июля
Затрепетал, колеблясь и дрожа,
И синий воздух мрел и плыл над рожью;
Двоилось все его бесшумной дрожью:
И каждый лист, и каждая межа.
Он звал — забыть в мечтательной истоме,
В лесной свободе страннических дней,
И трезвый труд, и будни в старом доме,
И мудрость книг, и разговор друзей.

2

Передо мной простерлась даль чужая,
Бор расстилал пушистые ковры,
Лаская дух, а тело окружая
Стоячим морем пламенной жары.
Я зной люблю. Люблю — не оттого ли,
Что в духоте передгрозовых дней
Земное сердце кажется слышней

В груди холмов, недвижных рощ и поля?
Иль оттого, что в памяти не стих
Горячий ветр из дали многохрамной,
Что гнал волну Нербадды, Ганга, Джамны
Пред таборами праотцев моих?
Благословил могучий дух скитанья
Их кочевые, рваные шатры,
И дорог мне, как луч воспоминанья,
И южный ветр, и древний хмель жары.

3

Я вышел в путь — как дрозд поет: без цели,
Лишь от избытка радости и сил,
И реки вброд, и золотые мели,
И заросли болот переходил.
И, как сестра, мой путь сопровождала
Река Нерусса — юркое дитя:
Сквозь заросли играя и светя,
Она то искрилась, то пропадала.
Деревни кончились. Но ввечеру
Мне мох бывал гостеприимным ложем.
Ни дровосек, ни рыболов захожий
Не подходил к безвестному костру,
И только звезды, пестуя покой мой,
По вечерам еще следить могли,
Как вспыхивает он над дикой поймой —
Все дальше, дальше — в глубь лесной земли.

4

Посвистывая, легким шагом спорым,
Босой я шел по узкой стежке... Вдруг
Замедлил шаг: вдали, за тихим бором
Мелькнуло странное: ни луч, ни звук
Его движений не сопровождали.
Казалось, туча, белая как мел,
Ползет сюда сквозь заросли... Не смел

Бор шелохнуться. Тихо, по спирали
Вздувался к небу белоснежный клуб
Султаном мощным. Голубая хмара
Сковала все, и горький вкус пожара
Я ощутил у пересохших губ.
Идти обратно? Безопасным, долгим,
Окружным шляхом? тратить лишний день?
Нет! целиной! по сучьям, иглам колким:
Так интересней: в глушь, без деревень.

5

Я к Чухраям, быть может, выйду к ночи.
Из Чухраев — рукой подать на Рум...
Сквозь лес — трудней, но трудный путь короче.
Однако зной!.. Нерасчленимый шум
Стоит в ушах. Ни ручейка, ни лужи:
Все высохло. Не сякнет только пот.
Со всех сторон — к ресницам, к шее, в рот
Льнет мошкара. Настойчивее, туже
Смыкает чаша цепкое кольцо.
То — не леса: то — океан, стихия...
Тайга ли? джунгли?.. Имена какие
Определят их грозное лицо?
Не в книгах, нет — в живой народной речи
Есть слово: звук — бесформен, шелестящ,
Но он правдив. То слово — немереча,
Прозвание непроходимых чащ.

6

Здесь нет земли. Пласты лесного праха
На целый метр. Коряжник, бурелом;
Исчерчен воздух, точно злая пряха
Суровой нитью вкось, насквозь, кругом
Его прошила — цепкой сетью прутьев,
Сучков, ветвей, скрепив их, как бичом,
Черномалинниками и плющом.

Как пробиваться? То плечом, то грудью
Кустарник рвать; то прыгать со ствола
На мертвый ствол сквозь стебли копор-чая;
Ползти ползком, чудных жуков встречая,
Под сводами, где липкая смола;
Срываться вниз, в колдобы, в ямы с гнилью,
В сыпучую древесную труху,
И наконец, все уступив бессилью,
Упасть на пень в зеленоватом мху.

7

В блужданиях сквозь заросли оврагов,
В борьбе за путь из дебрей хищных прочь
Есть дикий яд: он нас пьянит, как брага,
И горячит, как чувственная ночь.
Когда нас жгут шипов враждебных стрелы
И хлещет чаща в грудь, в лицо, в глаза,
Навстречу ей, как тесная гроза,
Стремится страсть и злая жадность тела.
Оно в стихиях мощных узнает
Прародины забытое касанье:
Мы — только нить в широкошумной ткани
Стволов и листьев, топей и болот.
Мы все одной бездонной жизнью живы,
Лес — наша плоть, наш род, наш кров, наш корм,
Он — страсть и смерть, как многорукий Шива,
Творец-палач тысячецветных форм.

8

День протекал. Уже почти в притине
Пылал источник блеска и жары,
Чуть поиграв порой на паутине,
На стебельках, на ссадинах коры.
Он был угрюм, как солнце преисподней,
Светило смерти, яростный Нергал,

Кому народ когда-то воздвигал
Дым гекатомб, смиряя гнев Господний.
Куда-нибудь, где есть вода! К реке,
К Неруссе милой, не спеша текущей
По тайникам, в таких веселых кущах,
В прекрасных лилиях и тростнике!
Воды!.. воды!..— Беспомощный и сирый,
В тот грозный день я понял, что она
Воистину живою кровью мира
С начала дней Творцом наречена;

9

Что в ней — вся жизнь, целенье ран и счастье,
В ней — Бог мирам, томящимся в огне,
И совершать, быть может, нам причастье
Водою — чище и святей вдвойне.
...Вдруг — луговина, тем же лесом пышным
Бесстрастно окаймленная. Но вон,
Там, на опушке, как мираж, как сон,
Желанный сон — конек далекой крыши.
Скользя по кочкам, падая в траву,
Я, не оглядываясь, брел к порогу.
Там есть вода, там быть должна дорога!
Я не хотел понять, что наяву
Насмешкой тусклой мне судьба грозила.
Я подошел вплотную.— Тишина...
Разрушен дом. Урочье — как могила,
Колодца нет. Дороги нет. Сосна.

10

На отшибе от страшной немеречи
Да старый дуб над кровлей. Я вошел.
Осколки, сор... кирпич от русской печи,
Разъехавшийся, шерховатый пол.

И дальний запах тишины и смерти,
Дух горечи, я уловил вокруг:
Ко мне, сюда, как змеи, через луг
Он полз, он полз, виясь по бурой персти.
И в этот миг, из окон конуры
Оборотясь, Бог весть зачем, на запад,
Я понял вдруг: и тишина, и запах —
От движущейся над землей горы.
То дым стоял, уже скрывая небо,
Уже крадясь по следу моему,
И сам весь белый, как вершины снега,
Бросал на бор коричневую тьму.

11

Огонь пьянит среди ночного мрака,
Но страшен он под небом голубым,
Когда к листве, блестящей как от лака,
Покачиваясь, подползает дым.
И языки, лукаво и спокойно,
Чуть видимые в ярком свете дня,
По мху и травам быстро семеня,
Вползают вверх, как плющ, по соснам стройным,
Уйти, бежать, бороться можем мы —
Мы, дети битв и дерзкого кочевья,
Но как покорно ждут огня деревья,
Чтоб углем стать в пластах подземной тьмы!
Как робко сохнет каждый лист на древе,
Не жалуясь, не плача, не моля...
...День истекал в огне и львином гневе,
Как Страшный суд весь мир испепеля.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Жизненная мощь растений, окружавших меня, была единственной силой, господствовавшей над моим, медленно угасавшим сознанием

Вальдемар Бонзельс

1

Пресыщенный убийством и разбоем,
Боль мириад существ живых вобрав,
День удалялся с полчищами зноя,
Как властелин: надменен, горд и прав.
Уже Арктур, ночной тоски предтеча,
Сквозь листья глянул в дикую тюрьму;
Уж прикасалась к духу моему
Глухая ночь в дрожащей немерече.
Она росла, неясные шатры
Густых кустов туманом окружала;
Порой вонзались в тишину, как жало,
Неуловимым звоном комары.
Я различил лужайку: вся в оправе
Орешника, она была тесна,
Узка, душна, но выжженные травы
Могли служить для отдыха и сна.

2

И чуть роса в желанном изобильи
Смягчила персть и колкую траву,
Я опустился на нее в бессильи,
Не зная сам: во сне иль наяву.
Квартира... вечер... лампа — не моя ли?
Мой дом! мой кров! мой щит от бурь и бед!..
Родные голоса, в столовой — свет,
Узоры нот и черный лак рояля.
Река ли то поет — иль водоем —
Прохладно, и покойно, и безбурно,

Прозрачными арпеджио ноктюрна
В томительном забвении моем?
И будто изгибаются долины,
Играющих излучин бирюза...
...Над клавишами вижу я седины,
Сощуренные добрые глаза.

3

Играет он — играет он — и звуки,
Струящиеся, легкие как свет,
Рождают его старческие руки,
Знакомые мне с отроческих лет.
Впитав неизъяснимое наследство,
Среди его мечтательной семьи
Играло мое радостное детство,
Дни юности прекрасные мои.
Когда в изнеможеньи и печали
Склонился я к нехоженой траве,
Быть может, заиграл он на рояле
В далекой и сияющей Москве.
Надеждою таинственною полны
Аккорды озаренные его:
Они, как орошающие волны,
Касаются до сердца моего.

4

И грезится блаженная Нерусса:
Прохладная, текучая вода,
Качающихся водорослей бусы,
Как сад из зеленеющего льда...
Зачем же мое огненное тело
Придавлено, как панцирем, к земле?..—
Ночь. Я вскочил. В угрюмо-мутной мгле
Стена стволов и бузины чернела.
Какая тишь!.. Там, в глубине лесной,
Дрожа, угас крик отдаленной выпи...

Безвольны мышцы, будто силу выпил,
Рождая пот за потом, жар дневной.
Иль это — голод,— третий день без пищи?
Иль это — жажда,— пламень, как в аду?
Что, если здесь, на выжженном кладбище,
Глотка воды я завтра не найду?

5

Но нет, не то... Здесь кто-то есть! Я чую,
Вот здесь, вверху, невидимо, вблизи —
Он караулит. По лесам кочуя,
Он гнал меня: в песке, во мху, в грязи.
И не один! Бесплотной, хищной стаей
Они обступят мой последний час,
Слепую душу в топь и глушь влача,
И станет мрак болотный — как плита ей.—
Утробный страх меня оледенил.
В нем был и ужас сумрачных поверий,
Когда на миг мы открываем двери
В двуликий край потусторонних сил,
И низкий страх, который знают совы,
Олень, тигр, заяц, человек,— когда
Мы все отдать за жизнь свою готовы
Без размышления и без стыда.

6

И в эту полночь, сам себя калеча,
Как бесноватый, слеп, оборван, глух,
Про все забыв, я вторгся в немеречу.
Гортань в огне, рот нестерпимо сух —
Воды! воды!.. Все тело от ударов
Ветвей болит, зуд кожи остр и жгуч...
Струит в листву багрово-желтый луч
Луна, оранжевая от пожаров.
Я впитывал губами, как питье,
С шершавых листьев капли влаги чахлой —

Роса, как яд, прогорклой гарью пахла
И кожу нёба жгла, как остриё.
А там, в высотах, пурпуром играя,
Уже заря гремела как труба,
И день меня ударил, настигая,
Как злой хозяин — беглого раба.

7

Вдруг, через страх затравленного зверя,
Мелькнул мне к жизни узенький мосток.
А я стоял. Я сам себе не верил.
Я видел стог. Да: настоящий стог!
Округлый, желтый, конусоподобный,
Как в Африке тукули дикарей...
Здесь кто-то был! Быть может, косарей
Заросший след найду я!.. Полдень злобный
Хлестнул бичом усталые глаза,
Когда я вышел на поляну. Слева —
Все тот же лес, направо — суходрева
Остаток мертвый, впереди — лоза,
Во все углы, шатаясь, как в тумане
Бросался я: в бор, в суходрев, в лозу...
Нет острова в зеленом океане!
Молчанье в небе — мертвый сон внизу.

8

Часы текли. Безвольно ветки висли,
Как руки обессилевших в бою.
Лицом к земле, не двигаясь, не мысля,
Лежал я на поляне. Кровь мою
Жара, казалось, гонит в землю, в землю,
В сухую глину, в жаждущий песок...
Сквозь целый мир, сквозь всю природу ток
Единый шел, меня в свой круг приемля,
Мне чудилось: к корням подземным, вспять,
Уже текут моя душа и сила,

Чтобы затем, под яростным светилом,
Смолой и соком юным заблистать.
А я лежал... От моего дыханья
Чуть колебались стебли жухлых трав,
В своем бесцельном, праздном колыханьи
Уже частицу сил моих вобрав.

9

Иль, может быть, не стебли, не растенья?
Мне мир другой мерцал сквозь маски их:
Без четких форм, теней иль средостенья
Меж ним и нами — слоем всех живых.
Там кто-то ждал мой образ, как добычу,
Как сотни жертв болот и немереч:
Смеясь чуть-чуть, он был готов стеречь
И ждать конца, пока я Бога кличу.
И в душу — узенькая, как клинок,
Проникла жалость к собственному телу:
Взгляд перешел от рук, привыкших к делу,
На грубо серые подошвы ног.
Как жестко их земля зацеловала:
Прах сотен верст их жег и холодил...
Что ж: этот прах мне станет покрывалом
Безвестнейшей из всех земных могил.

10

Когда же взор, слепимый страшным светом,
Я поднимал на миг в высоты дня —
Искр миллионы в воздухе нагретом
Роились там, танцуя и звеня.
А в глубине, за пляской их бессменной,
И мукой, и восторгом искажен,
Чуть трепетал, двоясь, как полусон,
Как дни и ночи — страстный лик вселенной.
Мучительная двойственность была
Влита, как в чашу, в это созерцанье.

Порой галактик дальнее мерцанье
Внушает нам покорность ту... Но жгла
На дне ее щемящая обида
За жизнь, мне данную Бог весть зачем:
Мир громоздился тяжкой пирамидой,
А Зодчий был бесстрастен, глух и нем.

11

В последний раз я встал, когда к закату
Склонялся день. Мне виделось: вон там,
Вдали, в углу, трава чуть-чуть примята.
Быть может — след?.. По скрюченным кустам
Прошел я вглубь. Безрадостным величьем
Глазам открылось море камыша.
Без волн, без зыби, молча, не шурша,
Оно стояло... Тусклое безличье
Отождествляло стебель со стеблем.
Что там: болото? заводи Неруссы?..
Томительно я вглядывался в грустный,
Однообразно-блеклый окоем.
По тростникам из-под древесной сени
На солнцепек спустился... Шаг один —
И стало чудом властное спасенье
Из тихо карауливших трясин.

12

Судьба, судьба, чья власть тобою правит
И почему хранимого тобой
Нож не убьет, отрава не отравит
И пощадит неравноправный бой?
Как много раз Охране покориться
Я не хотел, но ты права везде:
Дитя не тонет в ледяной воде
И ночью рвется шнур самоубийцы.
Куда ж ведешь? к какому божеству?
И где готовишь смертное томленье?

Быть может, здесь, в Лесу Упокоенья,
Опустишь тело в тихую траву?
Сил не было. В глазах круги... Как рогом
Гудела кровь, рвалась и билась вон...
В бреду, зигзагом я дополз до стога,
И все укрыл свинцовый, мертвый сон.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Ich fühle des Todes
Verjungende Flut,
Zu Balsam und Apher
Verwandelt mein Blut.

Nowalis[1]

1

Я поднял взгляд. Что это: крылья? знамя?..
Чуть осыпая цвет свой на лету,
Сиял и плыл высоко над глазами
Сад облаков — весь в розовом цвету.
Нездешняя, светящаяся влага
Баюкала и омывала их,
И брезжили селения святых
У розового их архипелага.
Я видел невозможную страну:
Ее и нет, и не было на свете,
В ее врата проходят только дети,
В прекрасный вечер отходя ко сну.
В моря неизреченного сиянья
Душа вливалась тихою рекой...
Прости мое греховное метанье,
В бездонном океане упокой.

---

[1] Омытый смертью,
Молод я вновь,
Эфир в моих жилах —
Целебная кровь. *Новалис (Перевод В. Микушевича).*

2

И стало все прекрасно и священно:
Созвездья, люди, мудрый сон камней...
Я вспоминал спокойно и смиренно
Борьбу и страх моих последних дней.
Как было странно... Господи, впервые
Со стороны я созерцал себя:
Срываясь с пней, кустарник теребя,
Я лез и полз сквозь дебри вековые.
Куда? Зачем?.. Не я ли сам мечтал
На склоне лет уйти к лесам угрюмым,
Чтоб древний бор с его органным шумом
Моим скитом и школой веры стал?
И в смертный день, ни с другом, ни с женою
Минуту строгую не разделив,
Склониться в прах на сумрачную хвою
Иль под шатер смиренномудрых ив.

3

Я жизнь любил — в привольи и в печалях,
И голос женщин, и глаза друзей,
Но широта в заупокойных далях
Еще безбрежней, выше и полней.
Один лишь труд, любимый, светлый, строгий
Завет стиха, порученного мне,
Приковывал к горячей целине,
Как пахаря у огненной дороги.
Но если труд был чист — откуда ж страх?
Зачем боязнь пространств иного мира?
Еще звучней оправданная лира
Вольет свой голос в хор на небесах.
А если нет, а если мрак и стужу
Я заслужил — Отец наш милосерд:
Смерть не страшна, я с детства с нею дружен
И понял смысл ее бесплотных черт.

4

Да, с детских лет: с младенческого горя
У берегов балтийских бледных вод
Я понял смерть, как дальний зов за море,
Как белый-белый, дальний пароход.
Там, за морями — солнце, херувимы,
И я, отчалив, встречу мать в раю,
И бабушку любимую мою,
И Добрую Волшебницу над ними.
Я возмужал. Но часто, как весна
Грядущая, томила мысль о смерти;
За гулом дней, за пеной водоверти
Страна любви была порой видна.
Где за чертой утрат и бездорожья
В долинах рая проходила Ты —
Царица ангелов, Премудрость Божья,
Волшебница младенческой мечты.

5

Жизнь милая! за все твои скитанья,
За все блуждания благодарю!
За грозы, ливни, за песков касанье
На отмелях, подобных янтарю;
За игры детства; за святое горе
Души, влюбленной в королеву льдов;
За терпкий яд полночных городов,
За эту юность, темную как море.
Благодарю за гордые часы —
Полет стиха средь ночи вдохновенной
В рассветный час мерцающей вселенной
По небесам, горящим от росы;
За яд всех мук; за правду всех усилий;
За горечь первых, благодатных ран;
За книги дивные, чьи строки лили
Благоухание времен и стран;

6

Благодарю за мрак ночей влюбленных,
За треск цикад и соловьиный гром,
За взор луны, так много раз склоненный,
С такой любовью, над моим костром;
За то, что ласковей, чем в сумрак бора
Живое солнце — луч духовных сил
Отец Небесный в сердце низводил
Сквозь волны ладана во мгле собора.
Благодарю за родину мою,
За катакомбы горестного века,
За строгий долг, за гордость человека,
За смерть вот здесь, в нехоженом краю...
Еще — за спутников, за братьев милых,
С кем общим духом верили в зарю,
За всех друзей — за тех, что спят в могилах,
И что живут еще — благодарю.

7

Я отхожу в безвестный путь мой дальний,
Но даль светла,— ясна вся жизнь моя...
В последний раз для радости прощальной
Являются далекие друзья.
Любимейших, легендой голубою
Пятнадцать лет сопутствовавших мне —
Я вижу их: в домашней тишине,
В уютной комнате — предвечно-двое.
Иные спят. Иные, взор скрестя
С моей судьбою, бодрствуют в тревоге;
Сережа М. проходит по дороге
К себе домой, о Моцарте грустя;
Два — под дождем алтайской непогоды,
И девушке в глаза глядит другой...
Расчесывает косы цвета меда
Та, что была мне самой дорогой.

8

Ресницы опускаются. Туманно
Яснеет запредельная страна,
Лазурная, как воды океана,
И тихая, как полная луна.
Приветь меня, желанное светило!
Во царствии блаженных упокой...
Я вздрогнул: вопль — растерзанный, живой,
Вдруг зазвучал с неотразимой силой.
Откуда, чей?.. В душевной глубине
Зачем он встал, мой смертный час наруша?
Он проходил, как судорга, сквозь душу,
Он креп и рос — внутри, вокруг, во мне.
Вторая мать, что путь мой укрывала
От бед, забот, любовью крепче стен,
Что каждый день и час свой отдавала,
Не спрашивая ничего взамен.

9

Седые пряди — вопль все глубже, шире,
Черты как мел, лицо искажено,—
Да, ей одной из всех живущих в мире
Перенести уход мой не дано.
Я цепенел, я плыл в оцепененьи,
Но лик не таял, крик не умолкал,—
Ему навстречу властно возникал
Нежданный образ, четкий как виденье.
Моей поляны угол темный, куст,
За ним — трава, стволы, песок горячий...
Я ж днем глядел: там лес все так же мрачен
И от следов живых созданий пуст.
Но все яснел непобедимый образ,
Отпрянул бред, как рвущаяся ткань,
И чей-то голос, требующий, добрый,
Вдруг молвил твердо: «Что ты медлишь? Встань!»

10

Удар сотряс сознание и тело.
Я поднял взгляд: прохладный, как вода,
Спешил рассвет — чуть лиловатый, белый,—
Для милосердья, а не для суда.
Неужто выход?.. но — куда?.. И разве
Могу я встать, искать, бороться вновь?
Мозг — как свинец, в ушах грохочет кровь,
Губ не разжать, весь рот подобен язве.
Бреду, шатаясь. Под листвой темно,
Но вон трава чуть-чуть примята шагом:
Косцов и баб веселая ватага
Когда-то здесь прошла давным-давно...
В последний раз на рубеже свободы
Я оглянулся на мой стог, лозу,
Я поднял взгляд на лиственные своды,
На рассветающую бирюзу.

11

Вставало солнце в славе самодержца.
Пора обратно, к людям, в жизнь — пора!
Но как бывает непонятно сердце,
Противочувствий темная игра.
Зачем мне ты, навязчивое чудо?
Я принял смерть; раздор страстей умолк;
Зачем же вновь брать этот горький долг —
Бороться, жить, стремиться в мир отсюда?
Зачем вот здесь, у тихого ствола,
В лесу Предвечного Упокоенья
Огонь желанья и страстей горенье
Вода бессмертия не залила?
Я побеждал; я отходил покорно;
Ведь смерть права, бушуя и губя:
Она есть долг несовершенной формы,
Не превратившей в Божий луч себя.

12

Но в небесах, в божественном эфире,
Высокой радости не знать тому,
Кто любящих оставил в дольнем мире,
Одних, одних, на горе, плач и тьму.
Не заглушит надгробного рыданья,
Скорбь материнскую не утолит
Ни смена лет, ни пенье панихид,
Ни слово мудрости и сostраданья.
Тогда захочешь свой небесный дом
Отдать за то, что звал когда-то пленом:
Опять, опять припасть к ее коленам,
Закрыв глаза, как в детстве золотом.
Но грань миров бесчувственно и глухо
Разделит вас, как неприступный вал,
Чтоб на путях заупокойных духа
Чуть слышный плач тебя сопровождал.

13

Нет! Права нет на радость мирной смерти!
Влачись назад, себялюбивый червь!
В рай захотел? Нет: вот по этой персти
Попресмыкайся. Дни твои, как вервь
Виясь, насквозь пронижут немеречу!
Вон и тропа... И вдруг, среди тропы —
Уверенной мальчишеской стопы
Недавний след мне бросился навстречу.
Отпечатлелись, весело смеясь,
Пять пальчиков на сыроватой глине...
И с новой силой здесь, в лесной пустыне,
Я понял связь,— да: мировую связь,—
Связь с человечеством, с его бореньем,
С его тропой сквозь немеречу бед...
И я ступил с улыбкой, с наслажденьем
На этот свежий, мягковатый след.

14

Назад! назад! В широкошумном мире
Любить, страдать — в труде, в бою, в плену,
Без страха звать и принимать все шире
Любую боль, любую глубину!
Вторая жизнь, дарованная чудом
И добровольно принятая мной,
Есть ноша дивная, есть крест двойной,
Есть горный спуск к золотоносным рудам.
Там, за спиной, в лесу ярятся те,
Кто смерть мою так кликали, так ждали:
Трясин и чащи злые стихиали
В их вероломной, хищной слепоте.
Кем, для чего спасен из немеречи
Я в это утро — знаю только я,
И не доверю ни стихам, ни речи
Прозваний ваших, чудные друзья.

15

Нерусса милая! Став на колени,
Струю, как влагу причащенья, пью:
Дай отдохнуть в благоуханной сени,
Поцеловать песок в родном краю!
Куда ж теперь, судьба моя благая?
В пожар ли мира, к битве роковой?
Иль в бранный час бездейственный покой
Дашь мне избрать, стыдом изнемогая?
Иль сквозь бураны европейских смут
Укажешь путь безумья, жажды, веры
В Небесный Кремль, к отрогам Сальватэрры,
Где ангелы покров над миром ткут?
Пора, пора понять твой вещий голос:
Все громче он, все явственней тропа,
Зной жжет, и сердце тяжело, как колос,
Склонившийся у твоего серпа.

1937—1950

РУССКИЕ БОГИ

СВЯТЫЕ КАМНИ

ВАСИЛИЙ БЛАЖЕННЫЙ

Во имя зодчих — Бармы и Постника

На заре защебетали ли
По лужайкам росным птицы?
Засмеявшись ли, причалили
К солнцу алых туч стада?..
Есть улыбка в этом зодчестве,
В этой пестрой небылице,
В этом каменном пророчестве
О прозрачно-детском «да».

То ль — игра в цветущей заводи?
То ль — веселая икона?..
От канонов жестких Запада
Созерцанье отреши:
Этому цветку — отечество
Только в кущах небосклона,
Ибо он — само младенчество
Богоизбранной души.

Испещренный, разукрашенный,
Каждый столп — как вайи древа;
И превыше пиков башенных
Рдеют, плавают, цветут
Девять кринов, девять маковок,
Будто девять нот напева,
Будто город чудных раковин,
Великановых причуд.

И, как отблеск вечно-юного,
Золотого утра мира,
Видишь крылья гамаюновы,
Чуешь трель свирели,— чью?
Слышишь пенье алконостово
И смеющиеся клиры

В рощах праведного острова,
У Отца светил, в раю.

А внутри, где радость начисто
Блекнет в сумраке притворов,
Где от медленных акафистов
И псалмов не отойти —
Вся печаль, вся горечь ладана,
Покаяний, схим, затворов,
Словно зодчими угадана
Тьма народного пути.

Будто, чуя слухом гения
Дальний гул веков грядущих,
Гром великого падения
И попранье всех святынь,
Дух постиг, что возвращение
В эти ангельские кущи —
Лишь в пустынях искупления,
В катакомбах мук.— Аминь.

1950

В ТРЕТЬЯКОВСКОЙ ГАЛЕРЕЕ

Смолкли войны. Смирились чувства.
Смерч восстаний и гнева сник.
И встает в небесах искусства
Чистой радугой — их двойник.

Киев, Суздаль, Орда Батыя —
Все громады былых веков,
В грани образов отлитые,
Обретают последний кров.

От наносов, от праха буден
Мастерством освобождены,
Они — вечны, и правосуден
В них сказавшийся дух страны.

Вижу царственные закаты
И бурьян на простой меже,
Грубость рубищ и блеск булата,
Русь в молитвах и в мятеже;

Разверзаясь слепящей ширью,
Льется Волга и плещет Дон,
И гудит над глухой Сибирью
Звон церквей — и кандальный звон.

И взирают в глаза мне лики
Полководцев, творцов, вождей,
Так правдивы и так велики,
Как лишь в ясном кругу идей.

То — не оттиски жизни сняты,
То — ее глубочайший клад:
Благостынею духа святы
Стены этих простых палат.

Прав ли древний Закон, не прав ли,
Но властительней, чем Закон,
Тайновидческий путь, что явлен
На левкасах седых икон:

В шифрах скошенной перспективы
Брезжит опыт высоких душ,
Созерцавших иные нивы —
Даль нездешних морей и суш.

Будто льется в просветы окон
Вечный, властный, крылатый зов...
Будто мчишься, летишь конь о конь
Вдаль, с посланцем иных миров.

1950

ХУДОЖЕСТВЕННОМУ ТЕАТРУ

Порой мне казалось, что свят и нетленен
Лирической чайкой украшенный зал,
Где Образотворец для трех поколений
Вершину согласных искусств указал.

Летящие смены безжалостных сроков
Мелькнули, как радуга спиц в колесе,
И что́ мне до споров, до праздных упреков,
Что видел не так я, как видели все?

В губернскую крепь, в пошехонскую дикость
Отсюда струился уют очагов,
Когда единил всепрощающий Диккенс
У пламени пунша друзей и врагов.

То полуулыбкою, то полусмехом,
То грустью, прозрачной, как лед на стекле,
Здесь некогда в сумерках ласковый Чехов
Томился о вечно цветущей земле.

Казалось, парит над паденьем и бунтом
В высоком катарсисе поднятый зал,
Когда над растратившим душу Пер Гюнтом
Хрустальный напев колыбельной звучал.

Сквозь брызги ночных, леденящих и резких
Дождей Петербурга, в туманы и в таль
Смятенным очам разверзал Достоевский
Пьянящую глубь — и горящую даль.

Предчувствием пропасти души овеяв,
С кромешною явью мешая свой бред,
Здесь мертвенно-белым гротеском Андреев
На бархате черном чертил свое «нет».

Отсюда, еще не умея молиться,
Но чая уже глубочайшую суть,
За Белою Чайкой, за Синею Птицей
Мы все уходили в излучистый путь.

И если театр обесчещен, как все мы,
Отдав первородство за мертвый почет,
Он *был* — и такой полнозвучной поэмы
Столетье, быть может, уже не прочтет.

1950

У ТЕЛЕСКОПА

Туманность Андромеды

С мягким шорохом свод
        и рефрактор плывут на шарнирах,
Неотступно следя
        в глухо-черных пространствах звезду,
Будто слышится ход
        струнным звоном звучащего мира,
Будто мерно гудят
        колесницы по черному льду.

Это — рокот орбит,
        что скользят, тишины не затронув,
Это — гул цефеид,
        меж созвездий летящих в карьер.
То — на дне вещества
        несмолкающий свист электронов,
Невместимый в слова,
        но вмещаемый в строгий промер.

И навстречу встает,
        как виденье в магическом круге,
Воплощенный полет —
        ослепительнейшая мечта —
Золотая спираль
        за кольцом галактической вьюги,
Будто райская даль
        белым заревом вся залита.

Будто стал веществом —
        белым сердцем в ее средоточье —
Лицезримым Добром
        сам творящий материю Свет.
Будто сорван покров
        и, немея, ты видишь воочью
Созиданье миров,
        и созвездий, и солнц, и планет.

Вот он, явный *трансмиф*,
        глубочайшая правда творенья!

Совершенный зенит,
    довременных глубин синева!..
И, дыханье стеснив,
    дрожь безмолвного благоговенья
Жар души холодит
    у отверзтых ворот Божества.

1950

БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ

С. М.

Вступаю в духовные волны,
Под свод музыкальной вселенной,
Причастник ее вечерам,
Где смолкшими звуками полны
И воздух, и купол, и стены,
Как хорами стихшими — храм.

Не скрытые маскою черной,
Мерцают глубины роялей
Таинственным золотом дек —
Пучиною нерукотворной,
Кипеньем магических далей,
Творящих на миг — и навек.

Люблю эти беглые блики
На струнах и лаке, а справа —
Сверканье серебряных жёрл,
Когда океан многоликий
Замкнуть берегами октавы
Готов демиург — дирижер.

Люблю этот трепет крылатый
Пред будущей бурей аккордов
Вокруг, надо мной и во мне,
И этот, закованный в латы
Готических образов, гордый
И тихий орган в глубине.

Он блещет, светло и сурово,
И труб его стройные знаки
Подобны воздетым мечам
Для рыцарской клятвы у Гроба,
Подобны горящим во мраке
Высоким алтарным свечам.

А выше, в воздушных провалах,
Над сумраком дольним партера,
Над сонмами бронзовых бра,
Блистают в холодных овалах

Гонцы Мировой Сальватерры —
Алмазной вершины Добра.

На дальних эфирных уступах
Отрогов ее запредельных
Есть мир гармонических сфер,
Для нас составляющих купол
Свободных, бесстрастных, бесцельных
Прозрений, наитий и вер.

И слушают молча колоссы
В своих вознесенных овалах
Сквозь отзвуки жизни былой —
Что здесь, на земле стоголосой,
Еще никогда не звучало:
Эдем,— совершенство,— покой.

1950

КАМЕННЫЙ СТАРЕЦ

Когда ковчегом старинной веры
Сиял над столицею Храм Христа,
Весна у стен его, в тихих скверах,
Была мечтательна и чиста.

Привычкой радостною влекомый,
Обычай отроческий храня,
К узорным клумбам, скамье знакомой
Я приходил на исходе дня.

В кустах жасмина звенели птицы,
Чертя полет к золотым крестам,
И жизни следующую страницу
Я перелистывал тихо там.

Я полюбил этот час крылатый,
Открытый солнечному стиху
И мудрость тихую белых статуй
Над гордым цоколем, наверху.

Меж горельефов, едва заметен,
Затерян в блещущей вышине,
Один святитель, блажен и светел,
Стал дорог, мил и понятен мне.

На беломраморных закомарах,
С простым движеньем воздетых рук,
Он бдил над волнами улиц старых,
Как покровитель, как тайный друг.

Мой белый старец! наставник добрый!
Я и на смертной своей заре
Не позабуду твой мирный образ
И руки, поднятые горé.

1933

У ПАМЯТНИКА ПУШКИНУ

Повеса, празднослов, мальчишка толстогубый,
Как самого себя он смог преобороть?
Живой парнасский хмель из чаши муз пригубив,
Как слил в гармонию России дух и плоть?

Железная вражда непримиримых станов,
Несогласимых правд, бушующих идей
Смиряется вот здесь, перед лицом титанов,
Таких, как этот царь, дитя и чародей.

Здесь, в бронзе вознесен над бурей, битвой, кровью,
Он молча слушает хвалебный гимн веков,
В чьем рокоте слились с имперским славословьем
Молитвы мистиков и марш большевиков.

Он видит с высоты восторженные слезы,
Он слышит теплый ток ликующей любви...
Учитель красоты! наперстник Вечной Розы!
Благослови! раскрой! подаждь! усынови!

И кажется: согрет народными руками,
Теплом несчетных уст гранитный пьедестал,—
Наш символ, наш завет, Москвы священный камень,
Любви и творчества магический кристалл.

1950

БОЛЬШОЙ ТЕАТР

Сказание о Невидимом граде Китеже

Темнеют пурпурные ложи.
Плафоны с парящими музами
Возносятся выше и строже
На волнах мерцающей музыки.
И, думам столетий ответствуя,
Звучит отдаленно и глухо
Мистерия смертного бедствия
Над Градом народного духа.

Украшен каменьем узорным,
Весь в облаке вешнего вишенья —
Всем алчущим, ищущим, скорбным
Пристанище благоутишное!..
Враг близок: от конского ржания
По рвам, луговинам, курганам,
Сам воздух — в горячем дрожании,
Сам месяц — кривым ятаганом.

Да будет верховная Воля!
Князья, ополченье, приверженцы
Падут до единого в поле
На кручах угрюмого Керженца.
Падут, лишь геройством увенчаны
В Законе греха и расплаты...
Но город! но дети! но женщины!
Художество, церкви, палаты!

О рабство великого плена!
О дивных святынь поругание!..
И Китеж склоняет колена
В одном всенародном рыдании.
Не синим он курится ладаном —
Клубами пожаров и дымов...
...— Спаси, о благая Ограда нам,
Честнейшая всех херувимов!

Как лестница к выси небесной,
Как зарево родины плачущей,
Качается столп нетелесный,

Над гибнущей Русью маячущий.
— О, Матере Звездовенчанная!
Прибежище в мире суровом!
Одень нас одеждой туманною,
Укрой нас пречистым Покровом!

И, мерно сходясь над народом,
Как тени от крыльев спасающих,
Скрывают бесплотные воды
Молящих, скорбящих, рыдающих.
И к полчищам вражьим доносится
Лишь звон погруженного града,
Хранимого, как дароносица,
Лелеемого, как лампада.

И меркнет, стихая, мерцая,
Немыслимой правды преддверие —
О таинствах Русского края
Пророчество, служба, мистерия.
Град цел! Мы поем, мы творим его,
И только врагу нет прохода
К сиянию Града незримого,
К заветной святыне народа.

1950

СИМФОНИЯ ГОРОДСКОГО ДНЯ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. БУДНИЧНОЕ УТРО

Еще кварталы сонные
дыханьем запотели;
Еще истома в теле
дремотна и сладка...
А уж в домах огромных
хватают из постелей
Змеящиеся, цепкие
щупальцы гудка.
Упорной,
хроматическою,
крепнущею гаммой
Он прядает, врывается, шарахается вниз
От «Шарикоподшипника»,
с «Трехгорного»,
с «Динамо»,
От «Фрезера», с «Компрессора»,
с чудовищного ЗИС.

К бессонному труду!
В восторженном чаду
Долбить, переподковываться,
строить на ходу.

А дух
еще помнит свободу,
Мерцавшую где-то сквозь сон,
Не нашу — другую природу,
Не этот стальной сверхзакон.

И, силясь прощально припомнить,
Он в сутолоке первых минут
Не видит ни улиц, ни комнат,
Забыв свою ношу, свой труд.

Но всюду — в окрайнах
от скрипов трамвайных
Души домов
рассвет знобит,
И в памяти шевелится,

Повизгивает, стелется
Постылая метелица
Сует
и обид.

Гремящими рефренами,
упруже ветра резкого,
Часов неукоснительней,
прямей чем провода,
К перронам Белорусского, Саратовского, Ржевского
С шумливою нагрузкою подходят поезда.

Встречаются,
соседствуют,
несутся,
разлучаются
Следы переплетенные беснующихся шин,—
Вращаются, вращаются, вращаются, вращаются
Колеса неумолчные бряцающих машин.

Давимы, распираемы
потоками товарными,
Шипеньем оглашаемы
троллейбусной дуги,
Уже Камер-Коллежское, Садовое, Бульварное
Смыкают концентрические плавные круги.

Невидимо притянуты бесплотными магнитами,
Вкруг центра отдаленного, покорно ворожбе
Размеренно вращаются гигантскими орбитами
Тяжелые троллейбусы мелькающего «Б».

Встречаются, соседствуют, несутся, разлучаются,
Нагрузку неимоверную на доли разделя,
Вращаются, вращаются, вращаются, вращаются
Колесики,
подшипники,
цилиндры,
шпинделя.

Штамповщики,
вальцовщики,
модельщики,
шлифовщики,
Учетчики, разметчики, курьеры, повара,

Точильщики, лудильщики, раскройщики, формовщики,
Сегодня — именитые,
безвестные вчера.

Четко и остро
Бегает перо
В недрах канцелярий,
контор,
бюро.
Глаза — одинаковы.
Руки — точь-в-точь.
Мысли — как лаковые.
Речь — как замазка...

И дух забывает минувшую ночь —
Сказку.

Могучую правду он с жадностью пьет
В заданиях, бодрых на диво,
Он выгоду чует, и честь, и почет
В сторуком труде коллектива.

Он видит:
у Рогожского,
Центрального,
Тишинского
И там — у Усачевского —
народные моря:
Там всякий пробирается в глубь чрева исполинского,
В невидимом чудовище монаду растворя.

Витрины разукрашены,
те — бархатны, те — шелковы
(От голода вчерашнего в грядущее мосты),
Чтоб женщины с баулами, авоськами, кошелками
Сбегались в говорливые, дрожащие хвосты.

А за универмагами, халупами, колоннами,
Пульсирует багровое неоновое М,
Воздвигнутое магами — людскими миллионами,
Охваченными пафосом невиданных систем.

Там статуи с тяжелыми чертами узурпаторов,
Керамикой и мрамором ласкаются глаза,

Там в ровном рокотании шарнирных эскалаторов
Сливаются несметные шаги и голоса.

Часы несутся в ярости.
                    Поток все полноводнее,
Волна остервенелая преследует волну...
Поигрывает люстрами сквозняк из преисподней,
Составы громыхающие гонит в глубину.

Горланящие месива
                    вливаются волокнами
Сквозь двери дребезжащие, юркнувшие в пазы;
Мелькающие кабели вибрируют за окнами,
Светильники проносятся разрядами грозы...

Встречаются, соседствуют, несутся, разлучаются,
С невольными усильями усилья единя,
Вращаются, вращаются, вращаются, вращаются,
Колеса неустанные скрежещущего дня.

И, все надчеловеческое
                    выхолостить, вымести
Зубчатою скребницею из личности спеша,
Безвольно опускается в поток необходимости
Борьбой существования плененная душа.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ВЕЛИКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ

В своем разрастании город неволен:
Им волит тот Гений, что вел в старину
Сквозь бронзовый гул шестисот колоколен
К последнему Риму — Москву и страну.
Но праздничный гул мирового призванья
Нечаянным отзывом эхо будил
В подземных пустотах и напластованьях,
В глубинном жилье богоборственных сил.

В своем разрастании город не волен:
Так нудит и волит нездешняя мощь,
Клубясь и вздуваясь с невидимых штолен,
Некопаных шахт и нехоженых толщ.
Как будто, пульсируя крепнущим телом,

Тучнеет в кромешном краю божество,
Давно не вмещаясь по древним пределам
Сосуда гранитного
своего.

Давно уж двоящимся раем
Влеком созидающий дух:
Он яростью обуреваем,
Борим инспирацией *двух.*
Враждующим волям покорны,
В твореньях переплетены,
Мечты отливаются в формы
Великой и страшной страны.

И там, где сверкали вчера панагии
И глас «Аллилуйя!» сердца отмыкал —
Асфальтовой глади пространства нагие
Сверкают иллюзией черных зеркал.

Стихий пробуждаемых крепнет борьба там,
Круша и ломая старинный покой
По милым Остоженкам, мирным Арбатам,
Кривоколенным и старой Тверской.

И, переступая стопой исполинской
Покорной реки полноводный каскад,
Мчат Каменный, Устьинский и Бородинский
Потоки машин по хребтам эстакад.

На дне котлованов, под солнцем и ливнем,
Вращаясь по графику четких секунд,
Живых экскаваторов черные бивни,
Жуя челюстями, вгрызаются в грунт.

Толпой динозавров подъемные краны
Кивают змеиными шеями вдаль,
И взору привычному больше не странны
Их мыслящий ход, их разумная сталь.

Над хаосом древних трущоб и урочищ,
Над особняками —
веками напоказ
Уж высится — явью свершенных пророчеств —
Гигантских ансамблей ажурный каркас.

Застрельщиков,
мучеников,
энтузиастов
Доиграна высокопарная роль:
Эпоха — арена тяжелых, как заступ,
Чугунных умов,
урановых воль.

Учтен чертежами Египет,
Ампир, Ренессанс, Вавилон,
Но муза уже не рассыпет
Для зодчих свой радужный сон.
Рассудка граненая призма
Не вызовет радугу ту:
Не влить нам в сосуд гигантизма
Утраченную красоту.

Напрасно спешим мы в Каноссу
Иных, гармонических лет:
Америки поздней колоссы
Диктуют домам силуэт.
Эклектика арок и лоджий,
Снижающийся габарит
О скрытом, подспудном бесплодьи
Намеками форм говорит.

И в бурю оваций,
маршей
и кликов
Век погружает
свою тоску,
И все туманней скольженье бликов
По мировому
маховику.
И сквозь жужжанье коловоротов
И похохатыванье
электропил,
Встают колонны, встают ворота
И заплетается сеть стропил.
Уж аэрограф, как веер, краской
Шурша обмахивает
любой фасад,
Чтоб он стал весел под этой маской:
Тот — бел, тот — розов, тот — полосат.

Во вдохновении
и в одержании
не видя сумерок,
не зная вечера,
Кружатся ролики, винты завинчиваются и поворачиваются ключи,
Спешат ударники, снуют стахановцы, бубнят бухгалтеры, стучат диспетчеры,
Сигналировщики жестикулируют
и в поликлиниках
ворчат врачи.

Они неистовствуют и состязаются, они проносятся и разлучаются,
В полете воль головокружительном живые плоскости накреня,
И возвращаются, и возвращаются, и возвращаются, и возвращаются —
Как нумерующиеся подшипники, детали лязгающего дня.

И какофония
пестрых гудов
Гремит и хлещет по берегам:
Треск арифмометров и ундервудов,
Команда плацев
и детский гам.
За землекопом спешит кирпичник,
За облицовщиком — столяры,
И детворою, как шумный птичник,
Уж верещат и визжат дворы.

В казенных классах,
теснясь к партам,
растет смена,
урок длится,
Пестрят карты
всех стран света,
по тьме дóсок
скрипит мел;
В глаза гуннам
рябят цифры,
огнем юным
горят лица,

А в час спорта
во двор мчится —
в галоп, с гиком —
клубок тел.
Смешав правду
с нагой ложью,
зерно знанья
с трухой догмы,
Здесь дух века
мнет ум тысяч,
росток нежный,
эфир душ,
Чтоб в их сердце
кремнем жизни
огонь пыла
потом высечь,
Швырнуть в город
живой каплей,
в бедлам строек,
в стальной туш;

Чтоб верным роем,
несметной стаей,
Они спускались — в любые рвы,
Громаду алчную ублажая
Ометалличивающейся
Москвы.
Все крепче дамбы,
все выше стены,
Плотней устои, прочнее кров,
И слышно явственно, как по венам
Державы мира
струится кровь.
И каждый белый и красный шарик
Спешит к заданьям по руслу жил,
В безмерных зданьях кружит и шарит,
Где накануне
другой кружил.
И, к инфильтратам
гигантских мускулов
по раздувающимся
артериям
Самоотверженными фагоцитами в тревоге судорожной
спеша,

Во имя жизни, защитным гноем, вкруг язв недугующей материи
Ложатся пухнущими гекатомбами за жертвой жертва, к душе душа.

Пути их скрещиваются, перенаслаиваются, монады сталкиваются и опрокидываются
И поглощаются в ревущем омуте другой обрушивающейся волной;
Имен их нет на скрижалях будущего, и даже память о них откидывается
Обуреваемой единым замыслом, в себя лишь верующей страной.

А по глубинным ядохранилищам, по засекреченным лабораториям
Бомбардируются ядра тория, в котлы закладывается уран,
Чтобы светилом мильоноградусным — звездой Полынью метаистории —
В непредугаданный час обрушиться на Рим, Нью-Йорк или Тегеран.

И смутно брезжит
сквозь бред и чары
Итог истории — цель дорог:
Москва, столица земного шара,
В металл облекшийся Человекобог.

Уже небоскребов заоблачный контур
Маячит на уровне горного льда,—
Блистательный, крылья распла́ставший кондор,
Державною тенью покрыв города.
Уж грезятся зданья, как цепь Гималая,
На солнце пылая в сплошной белизне:
В том замысле — кесарей дерзость былая,
Умноженная в ослепительном сне.
И кружатся мысли, заходится сердце,
Воочию видя сходящий во плоть
Задуманный демоном град миродержца,
Всю жизнь долженствующий преобороть.

И только порою, с тоской необорной,
Припомнятся отблески веры ночной —
Прорывы космической веры соборной
И духа благоухающий зной.

Гармония невыразимого лада
Высоко над звуками крепнет в душе,
Еще не найдя себе формы крылатой
Ни в гимнах, ни в красках, ни в карандаше.
И — вздрогнешь: тогда обступившие стены
Предстанут зловещими, как ворожба,
Угрюмыми чарами темной подмены,
Тюрьмой человека — творца и раба.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ВЕЧЕРНЯЯ ИДИЛЛИЯ

Шесть!
        Приутихают конторы.
К лифтам, трамваям, метро — напролом!..
А сверхурочники, с кислым взором,
Снова усаживаются за столом.

В красные
            от лозунгомании
                                    стены,
К незамедляющимся станкам,
Хмурые волны вечерней смены
Льются
        сквозь производственный гам.
По министерствам, горкомам, трестам
Уже пошаркивает метла,
Хлопают дверцы с прощальным треском
И засыпают в шкафах дела.

И вот уже —
                оранжев, пурпурен и малинов,
Гладя глыбы набережных теплою рукой,
Самый лучезарнейший из добрых исполинов
Медленно склоняется над плавною рекой.
Юркают по зеркалу вертлявые байдарки,
Яхты наклоняются, как ласточки легки...
Ластятся прохладою ласкающие парки,
Яркими настурциями рдеют цветники.

С гомоном и шутками
                        толпясь у сатураторов,
Дружески отхлебывают пенистый оршад

Юноши с квадратными плечами гладиаторов,
Девушки хохочущие платьями шуршат.

Влажной дали зов
Нежно бирюзов,
Холодно глубок у розовеющих мостов.

Трамвайчики речные
бульбулькают, пышут,
Отблески и зайчики
по майкам
рябят...
Гуторят, притопатывают,
машут, дышат
Вдоль палуб конопатых
стайки
ребят.
Издали им мраморный марш барабанят
И шпилем золоченым затеняют асфальт
Сверкающие горы
высотных зданий
И контуры
университетских
Альп.

Там, у причалов,
у всех станций,
у плит спусков,
в песке пляжей,
Где луч солнца
завел танцы,
где весь воздух
молвой полн —
Пестрят вскрики,
бегут пятки,
спешат руки
забыть тяжесть,
С плотвой шустрой
играть в прятки,
дробить струи
и бег волн.
В тени парков
зажглись игры.
Как мед, сла́дки
в кафе морсы,

И бьет в сетку
баскетбола
с сухим шарком
смешной мяч,
Гудут икры,
горят щеки,
зудят плечи,
блестят торсы:
То — бес спорта,
живой, юркий,
всю кровь в жилах
погнал вскачь.

Закатом зажигаются развесистые кроны,
Оркестры первых дансингов, дрожа,
льют
трель,
Качелями, колесами шумят аттракционы,
Моторы карусельные жужжат,
как
дрель.
Броситься колдобинами гор американских,
Ухая и вскидываясь — вниз,
вверх,
вбок,
Срывами и взлетами, в тележках и на санках,
Сцепливаясь судорожно в клубок:
— Мой
Бог...—
Сев на деревянную раскрашенную свинку,
Мерно, по спирали убыстрять
свой
бег,
В головокружении откинувшись на спинку,
Чувствуя, как ветер холодит
щур
век;
Вспархивать на цыпочках «гигантскими шагами»,
Точно поднимаемый крылом
вьюг
лист;
Взви́хриваться ломкими, зыбкими кругами
В воздух, рассекающий лицо,
как хлыст.

Празднуя советский карнавал,
вверх
круто
Взбрасываться в небо, утеряв
весь
вес,
С плавно раздуваемою сферой парашюта
Рушиться в зияющий провал,
как
бес!..
Чтобы кровь тягучая —
огнем
горела,
Чтобы все пронизывал, хлестал,
бил
жар;
Чтобы, наслаждением подхлестывая тело,
Ужас заволакивал мозги,
как пар!..

Тешатся масштабами. Веруют в размеры.
Радуются милостям,
долдонят в барабан...
Это — нянчит отпрысков великая химера,
Это — их баюкает стальной Левиафан.

Прядают, соседствуют, несутся, возвращаются,
Мечутся, засасываясь в омут бытия,
Кружатся, вращаются, вращаются, вращаются
Утлые молекулы чудовищного Я.

А в нелюдимой Арктике,
в летней ее бессоннице,
Мгновенно уподобляясь космическому палачу,
Разрыва экспериментального
фонтан
поглощает солнце,
Как буйствование пожара —
беспомощную свечу.
Но лишь по секретным станциям, в почтительном отдалении,
Поерзывают уловители разломов коры
и гроз

Да ревом нечеловеческим
ослепнувшие тюлени
Приветствуют планетарный научный апофеоз.

Город же, столица же — как встарь
длит
жизнь.
Вечер! развлекай нас! весели!
взвей!
брызнь!

В екающем сердце затаив
жуть
томную, приятно-газированный испуг,
зноб,
чад,
Сотни голосящих седоков
в муть
темную, вот, по узкой проволоке путь
свой
мчат.
Оттуда — на мгновение, внизу,
вся
в пламенных сияньях несосчитанных — Москва
наш
рок,
В дни горя, в ураганах и в грозу —
страж
каменный, в годину же хмельного торжества —
наш
бог.
Она — в бегущих трепетах огней,
фар
и́глистых, в прожекторах шныряющих, в гудках
сирен,
И полумаской дымною над ней
пар
зыблется от фабрик, стадионов,
эспланад,
арен.

И кажется — в блаженстве идиллии вечерней,
Что с этим гордым знаменем — все беды хороши,

И вычеркнута начисто из памяти неверной
Тоскующая правда
ночной
души.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. ПРОРЫВ

В знак
Гончих
Вполз
месяц.
День
кончен.
Бьет
десять.
Бьет
в непроглядных
пространствах
Сибири.
Бьет над страной.
Надо мной.
Над тобой.
И голосами, как черные гири,
В тюрьмах надзор возвещает:
— От-бой! —
В Караганде, Воркуте, Красноярске,
Над Колымою, Норильском, Интой
Брякают ржавые рельсы, по-царски
В вечность напутствуя день прожитой.

Сон
разве?..
Тишь...
Морок...
Длит
праздник
Лишь
город.

Вспыхнут ожерелья фонарей
вдоль
трасс
Музыкой соцветий небывалых.

Манят вестибюли: у дверей —
блеск
касс,
Радуга неоновых порталов.
Пряными духами шелестит
шелк
дам,
Плечи — в раздувающихся пенах...
Брызжет по эстрадам перезвон
всех
гамм
И сальто-мортале — на аренах.
Встанет попурри, как балерина, на носок,
Тельце — как у бабочки: весь груз —
грамм,—
Будто похохатывает маленький бесок:
Дранта-рата-рита, тороплюсь
к вам!

А ксилофон, бренча,
Виолончель, урча,
И гогоча, как черт,
кларнет
Воображенье мчат
В неразличимый чад,
Где не понять
ни тьму,
ни свет.
Там попурри —
дзинь-дзень,
И на волну
всех струн
Взлетает песнь,
как челн,
как флаг,
Что никогда
наш день
Еще не был
столь юн,
Столь осиян,
столь полн,
столь благ.
Звенит бокал
дзынь-дзень,

Узоры слов
рвет джаз,
Колоратур
визг остр
и шустр,—
Забыть на миг
злой день,
Пить омрак чувств
хоть час
В огнях эстрад,
и рамп,
и люстр!
Но и с эстрад
сквозь дзонн
От радиол, сцен,
рамп
В ушах бубнит
все тот же
миф,
Все тот же скач,
Темп, звон,
И тридцать лет
мнет штамп
Сердца и мозг,
цель душ
скривив.
Ни шепотком,
Ни вслух,
Ни во хмелю,
ни в ночь
Средь тишины, с самим
собой,
Расторгнуть плен
невмочь,
Рвануть из пут
свой дух,
Проклясть позор,
жизнь,
тьму,
ложь,
строй.

И только память
о тщетных жертвах

Еще не стерта, еще свежа,
Она шевелится в каждом сердце,
Как уголь будущего мятежа.

Но музыка баров
от боли мятежной
Предохраняет...
эстрада бренчит...
Мерно...
льют вальсы...
ритм плавный...
и нежный...
Плавно...
все пары...
ток пламенный...
мчит:
Жаркий!
пульс танца!
тмит разум!
бьет в жилах,
Арки
зал шумных
слив в радужный
круг;
Слаще,
все слаще
смех зыбкий
уст милых,
Радость
глаз юных
и сомкнутых
рук...

Бьет
полночь:
Звон
с башни.
Круг
полон...
Друг!
Страшно!

Этих кровавых светил пятизвездье
Видишь?
Эти глухие предзвучья возмездья

Чуешь?
Нет.
Тихо.
                    Совсем тихо.
Лишь ЗИСы черным эллипсоидом
Под фонарем летят во тьму...
Кварталы пусты. Дождь косой там
Объемлет дух и льнет к нему.

Наутро снова долг страданий,
Приказы, гомон, труд, тоска,
И с каждым днем быстрей, туманней
Ревущий темп маховика.

Не в цехе, не у пестрой рампы —
Хоть в тишине полночных книг
Найти *себя* у мирной лампы,
Из круга вырваться на миг.

Смежив ресницы, в ритме строгом,
Изгнав усталость, робость, страх,
Длить битву с Человекобогом
В последних — в творческих мирах!..

Вон —
в славе —
Знак
Льва.
Ночь
правит.
Бьет
два.

Космос разверз свое вечное диво.

Слава тебе, материнская ночь!
Вам, лучезарные, с белыми гривами,
Кони стиха, уносящие прочь!

Внемлем!
                    зажглась золотая Капелла!
Вонмем!
                    звенит голубой Альтаир!

Узы расторгнуты. Сердце запело,
Голос вливая в ликующий клир.

Слышу дыханье иного собора,
Лестницу невоплощаемых братств,
Брезжущую для духовного взора
И недоступную для святотатств;

Чую звучанье служений всемирных,
Молнией их рассекающий свет,
Где единятся в акафистах лирных
Духи народов и души планет;

Где воскуряется строго и прямо
Белым столпом над морями стихий
Млечное облако — дым фимиама
В звездных кадильницах иерархий...

Чую звучанье нездешних содружеств,
Гром колесниц, затмевающих ум,—
Благоговенье, и трепет, и ужас,
Радость, вторгающуюся, как самум!..

Властное днем наважденье *господства*
Дух в созерцаньи разъял и отверг.
Отче. Прости, если угль первородства
В сердце под пеплом вседневности мерк.

Что пред Тобой письмена и законы
Всех человеческих царств и громад?
Только в Твое необъятное лоно
Дух возвратится, как сын — и как брат.

Пусть же назавтра судьба меня кинет
Вновь под стопу суеты, в забытье,—
Богосыновства никто не отнимет
И не развеет бессмертье мое!

8—22 декабря 1950 г.
Владимир

ТЕМНОЕ ВИДЕНИЕ

СТОЛИЦА ЛИКУЕТ

Триптих

1. ПРАЗДНИЧНЫЙ МАРШ

Всю ночь
плотным кровом
        Плат туч
        кутал мир.
И вот,
луч багровый
        Скользнул
        в глубь квартир.

Бежит
сон бессильный
        Дневных
        четких схем...
Наш враг —
гном-будильник
        Трещит
        в уши всем:

— Бьет семь!
Марш, товарищи!
    Вам всем
Время к сборищу!

Внизу
в мгле кварталов
        Зардел
        первый стяг.

Вдоль плит,
в лужах талых
        Шуршит
        спешный шаг:

— Ой, семь...
Марш, товарищи!

Нам всем
Время к сборищу!

Встает
злое утро,
И день
взвел курок,
Снегов
льдистой пудрой
Укрыв
грязь дорог.

Ал куб
новой ратуши;
За ним,
прост и груб,
Мазком
мглы, как ретуши —
Нагой
черный куб.

Бич — дождь
бьет по кровле,
Кладет
кистью мглы

Подтек
черной крови
На свод,
фронт, углы.

Столпом
вверх маяча,
Квадрат
четкий прям;
Белки́
штор — незрячи
В прямых
веках рам.

И тут,
там и рядом
Идут
вдаль, идут:

— Вперед! —
ряд за рядом,—
Кумач
флагов — вздут,—

Пальто,
кепки, блузы,
Поля
мокрых шляп —

С контор,
фабрик, вузов —
В мозгах
плотный кляп.

И вдоль
зданий серых,
Как рёв
бурь в горах —
— Вперед!! —
волны веры,
Восторг,
трепет, страх —

— Вперед!!! —
Сбоку, с тыла
Подсказ:
— Гимн пора! —
И вот,
штормом взмыло:
— Ура, вождь!
Ура!

— Ура, народ.
С праздником.
Привет
Всем союзникам.

Гудит
шаг гиганта
В снегу,
льду, воде,
Сквозь мгу
транспаранты

В косом
прут дожде.

— Вперед!
Рати множатся,
Звенит
сталь пружин,
Рука
в руку вложится,
Крепя
строй дружин.
Нас ждет
люд истерзанный —
Дрожит
подлый страж.
Вперед!!
Даль разверзнута,
Весь мир
завтра наш.

Парад
кончен. Сонно
К домам,
в пасть ворот,
Бредут
вспять колонны,
Спешит
хилый сброд.

Чтоб всяк
прел до завтра,
Спесив,
предан, горд,
Смесив
робость кафра
С огнем
гуннских орд.

Бренчат
гимн отчизне,
Но шаг
вял и туп.

Над сном
рабьей жизни,
Как дух,
Черный Куб.

1931—1950

2. ИЗОБИЛИЕ

Свищут и салютуют
заводы и вокзалы.
Плещут многолюдные
радиусы трасс.
Кранами, машинами
сдвинуты кварталы,
Площади расширены,
чтоб лих
стал
пляс.

В уровень с фронтонами домов
вкруг плаца
Вырос небывалый Эверест —
в три дня:
Пышно коронованный венцом иллюминаций,
Красками трепещущий
в нимбах огня.

Радостный Олимп
рождающейся расы,
Борющихся масс
желанные миры:
Десятиметровые фанерные колбасы,
Куполоподобные,
красные
сыры.

Кляксами малярными —
оранжевые, синие,
Желтые, конфеты цветут,
как май,—
Социалистическая скиния,
Вечно приближающийся рай.

Булки в восемь тонн
Пло́тны, как бетон:
— Прыгайте, ребятки, с батона на батон!

Пучится феерия
славы и победы,
Клубы и чертоги —
битком, как склад...
За руки берутся
школьники и деды,
Мерно педагоги
бьют
им
в лад:

— Шибче!
— Шибче!
— Вот так достиженья:
Горы бутербродов...
Морс —
как
душ...
— Шпроты!
— Шпроты!
В головокруженьи
Крепнут хороводы,
грянул
туш.

— В ногу!
— В ногу!
— Это ли не чудо?
— Это ль не корыто?
— Дай, жми, крой!
— То́рты!
— То́рты!
— Кремовые груды!
— Скоро будем сыты...
— Пей, ешь, пой!

Пламенны, как клумбы,
Крашеные крабы;
Выше диплодоков
башни
туш...

Ро́мбами, куба́ми
Ромовые бабы:
Каждая — как тумба,
на
сто
душ.

— Топайте, товарищи: трам, трам, трам!
— Вон, везут товар в наш храм, храм, храм.

— Скоро будут гетры!
хлеб!
машины!
— Всякому — полметра
креп-
де-шина...

Ахают.
Охают.
Бурлят, как шквал.
Весело взбираются в зенит
вкруг хал.

Тучи в багреце.
Зарева над городом.
Мир во человецех
зрим и весом.
Груди распирает
ликующая гордость,
Очи оловянные ходят колесом.

И, обозревая с муляжного Олимпа
Красную Гоморру
кругом,
впереди —
Чувствует каждый: красная лампа,
Весь мир озаряя,
горит
в груди.

1951

3. КАРНАВАЛ

Громыхают в метро
Толп
Во́ды.
Единицу — людской
Мчит
Вал.
Заливаются вниз
Все
Входы,
Лабрадор и оникс
Всех
Зал.

А снаружи — в огнях
Мрак
Улиц,
Фейерверком залит
Весь
Мост,
Каждый угол гудит,
Как
Улей,
У любого кафе —
Свой
Хвост.
У зубастых, как пасть,
Врат —
Флаги,
Благосклонная власть —
Щит
Рас,—
Чтобы выше стал взлет
Пен
Браги,
Чтоб упился народ
Хоть
Раз!

С цитадели взвыл горн,
Бьют
Бубны;

Каждый весел и сыт,
Как
Крез...
Нарастает валторн
Гром
Трубный,
Ксилофон свиристит,
Как
Бес.

Клубы — настежь. Открыт
Бар
Каждый.
Говор — шумен и груб.
Смех —
Прян.
Хохот женщин томит,
Жжет
Жаждой;
Всякий — близостью губ
Чуть
Пьян.

За кварталом квартал
Льет
Реки...
Крепче мни, карнавал,
Свой
Хмель!..
Вихрем лент серпантин
Бьет
В веки,
Перезвон мандолин
Вьет
Трель.

Балалаечный строй —
Лад
Мерный —
Поднимает пуды
Ног
В пляс...
Эта ночь — вихревой
Час
Черни,

Афродита Страны! —
Твой
Час!

Очерк лиц омертвел:
Лишь
Маски —
Тот — лилов, этот — бел,
Как
Труп...
Переходит в гавот
Ритм
Пляски,
Тарахтит весь гудрон
В такт
Труб.

Мчится с посвистом вихрь
Вкруг
Зданий,
Но тиха цитадель,
Как
Гроб,
Только в тучах над ней
Бдит
Знамя —
Солнце ночи и цель
Всех
Троп.

1951

ГИПЕР-ПЕОН

О триумфах, иллюминациях, гекатомбах,
Об овациях всенародному палачу,
О погибших и погибающих в катакомбах
Нержавеющий и незыблемый стих ищу.

Не подскажут мне закатившиеся эпохи
Злу всемирному соответствующий размер,
Не помогут во всеохватывающем вздохе
Ритмом выразить величайшую из химер.

Этой поступью оглушенному, что мне томный
Тенор ямба с его усадебною тоской?
Я работаю, чтоб улавливали потомки
Шаг огромнее и могущественнее, чем людской.

Чтобы в грузных, нечеловеческих интервалах
Была тяжесть, как во внутренностях Земли,
Ход чудовищ, необъяснимых и небывалых,
Из-под магмы приподнимающихся вдали.

За расчерченною, исследованною сферой,
За последнею спондеической крутизной,
Сверхтяжелые, трансурановые размеры
В мраке медленно поднимаются предо мной.

Опрокидывающий правила, как плутоний,
Зримый будущим поколеньям, как пантеон,
Встань же, грубый, неотшлифованный, многотонный,
Ступенями нагромождаемый сверхпеон.

Не расплавятся твои сумрачные устои,
Не прольются перед кумирами, как елей!
Наши судороги под расплющивающей пятою,
Наши пытки и наши казни запечатлей!

И свидетельство о склонившемся к нашим мукам
Темном Демоне, угашающем все огни,
Ты преемникам — нашим детям и нашим внукам —
Как чугунная усыпальница, сохрани!

1951

* * *

Ты осужден. Молчи. Неумолимый рок
Тебя не первого привел в сырой острог.
Дверь замурована. Но под покровом тьмы
Нащупай лестницу — не ввысь, но в глубь тюрьмы.
Сквозь толщу мокрых стен, сквозь крепостной редут
На берег ветреный ступени приведут.
Там волны вольные,— отчаль же! правь! спеши!
И кто найдет тебя в морях твоей души?

1937

КРАСНЫЙ РЕКВИЕМ

I

Сквозь жизнь ты шел в наглазниках. Пора бы
Хоть раз послать их к черту, наконец!
Вон, на снегу, приземистою жабой
Спит крематорий, серый как свинец.

Здесь чинно все: безверье, горесть, вера...
Нет ни берез, ни липок, ни куста,
И нагота блестящего партера
Амбулаторной чистотой чиста.

Пройдет оркестр, казенной медью брызнув...
Как бой часов, плывут чредой гроба,
И ровный гул подземных механизмов
Послушно туп, как нудный труд раба.

А в утешенье кажет колумбарий
Сто ниш под мрамор, серые, как лед,
Где изойдет прогорклым духом гари
Погасших «я» оборванный полет.

II

Стих
Толк;
Присмирел деловой
Торг:
Свой
Долг
Возвратил городской
Морг.
Жизнь —
Круг.
Катафалк кумачом
Ал.
Наш
Друг

На посту боевом
Пал!
Срок
Бьет.
Пронесем через мост
Труп.
Жизнь
Ждет
И торопит на пост
Труд.
Пук
Роз
Сквозь ворота бегут
Внесть.
Для
Слез
Восемнадцать минут
Есть.
— Он
Пал,
Укрепив наших сил
Мощь!
Он
Брал
Жизнь в упор, как учил
Вождь!
Он
Пал
Несгибаемо прям,
Тверд.
Пусть
Шквал
Хлещет яростно в наш
Борт:
Наш
Стяг
Не сомнет никакой
Враг!
Марш!
Марш!
Сохраняй строевой
Шаг!

III

Тот
Наглый, нагой, как бездушный металл,
Стык
Слов
Мне
Слышался там, где мертвец обретал
Свой
Кров;
Где
Должен смириться бесплодных времен
Злой
Штурм;
Где
Спит, замурован в холодный бетон,
Ряд
Урн.
В тыл
Голого зала, в простой — вместо свеч —
Круг
Ламп,
Бил
Голос оратора, ухала речь,
Как
Штамп.
Был
Тусклый, тяжелый, как пухлости лбов,
В ней
Пыл,
Гул
Молота, бьющего в гвозди гробов,
В ней
Был:
— Долг...
Партия... скромность... Мы — прочный устой...
Честь...
Класс...—
Гной
Будничной пошлости, странно-пустой
Треск
Фраз.

Чу:
Шýрхнули дверцы... Как шарк по доске,
Звук
Туп;

Чуть
Екнуло сердце,— и вздрогнул в тоске
Сам
Труп.

В печь,
В бездну,— туда, где обрежется нить
Всех
Троп,

Вниз,
Мерно подрагивая, уходить
Стал
Гроб.

И —
Эхом вибрации,— труп трепетал...
Был
Миг —

Блеск
Нижнего пламени уж озарял
Весь
Лик...

Ток
Пущен на хорах: орган во весь рост
Взвыл
Марш!

Срок
Взвешен в секундах, ритм точен и остр,
Как шарж...

Стал
Старше от скорби, кто слышал порой,
Как
Мы,

Марш
Urbi et orbi[1] — чеканенный строй,
Шаг
Тьмы;

---

[1] Городу и миру *(лат.)*.

Кто
Глянул невольно в тот жгучий испод,
В ту
Щель,
Кто
Понял, что там — все плоды, весь итог,
Вся
Цель,
Кто
Чадом тлетворным дохнул из глубин
Хоть
Раз;
Кто
Дьявольским горном обжег хоть один
Свой
Час.

IV

И «Вечную память» я вспомнил:
Строй плавных и мерных строф,
Когда все огромней, огромней
Зиянье иных миров;

Заупокойных рыданий
Хвалу и высокую честь;
«Иде же нет воздыханий»
Благоутешную весть;

Ее возвышенным ладом
Просвечиваемую печаль,
Расслаивающийся ладан,
Струящийся вверх и вдаль,

Венок — да куст невысокий
Над бархатным дерном могил,
В чьих листьях — телесные соки
Того, кто дышал и жил.

1951

ИЗ МАЛЕНЬКОЙ КОМНАТЫ

* * *

Враг за врагом.
                    На мутном Западе
За Рону, Буг, Дунай и Неман
Другой, страшнейший смотрит демон —
Стоногий спрут вечерних стран:
Он утвердил себя как заповедь,
Он чертит план, сдвигает сроки,
А в тех, кто зван как лжепророки,
Вдвигает углем свой коран.

Он диктовал поэтам образы,
Внушал он марши музыкантам,
Стоял над Кёрнером, над Арндтом,
По чердакам, в садах, дворцах,
И строки, четкие как борозды,
Ложились мерно в белом поле,
Чтобы затем единой волей
Зажить в бесчисленных сердцах.

Как штамп впечататься в сознание,
Стать культом шумных миллионов,
Властителей старинных тронов
Объединить в одну семью
И тело нежное Германии
Облечь в жестокое железо —
Бряцающую антитезу
Эфироносных тел в раю.

Он правит бранными тайфунами,
Велит громам... Он здесь, у двери —
Народ-таран чужих империй,
Он непреклонен, груб и горд...

Он пьян победами, триумфами,
Он воет гимн, взвивает флаги
И в цитадель священной Праги
Вступает поступью когорт.

1941

* * *

Еще, в плену запечатанных колб,
Узница спит — чума.
В залах — оркестры праздничных толп,
Зерно течет в закрома...
Кажутся сказкой — огненный столп,
Смерть, вечная тьма.

Войн, невероятных как бред,
Землетрясений, смут,
В тусклом болоте будничных лет
Выросшие — не ждут.
Жди. Берегись. Убежища нет
От крадущихся минут.

Пусть — за гекатомбами жертв
Будут стужа и лед,
И тем, кого помилует смерть,
Жизнь отомстит... Вперед!
Мир в эту хлещущую водоверть
Бросится, как в полет.

Вдребезги разобьется скрижаль
В капищах наших дней.
Страшно — раздора ль? войны ль? мятежа ль? —
Горшее у дверей!
Только детей неразумных жаль
И матерей.

1937

В НОЧНЫХ ПЕРЕУЛКАХ

Ни Альтаира. Ни Зодиака.
Над головой — муть...
Нежен, как пух, среди света и мрака
Наш снеговой путь.

Шустрый морозец. В теле — отрада,
Пальцев и лбов щип.
Ведает только дух снегопада
Наших шагов скрип.

Кто-то усталых в домиках древних
Манит, присев, к снам.
Пламя камина в памяти дремлет,
Душу согрев нам.

Скверы, бульвары... льдистые стекла,
Мост — и опять мост...
Губы целуют, добры и теплы,
Танец снежинок-звезд.

Дважды мы проходили, минуя
Свой же подъезд, вдаль:
Жаль нам Москвушку бросить ночную,
Ласковых мест жаль.

Вот бы на зло церемонным прогулкам
В снег кувырком пасть!
Вот бы разуться да переулком
В сад босиком — шасть!

Весело, что нельзя этих блесток
Вытоптать, смять, счесть...
На циферблатах пустых перекрестков
Три... пять... шесть...

1958

ДО́МА

Этот двор, эти входы,
Этот блик, что упал на скамью,
В роды, роды и роды
Помнят добрую нашу семью.

Эти книжные полки,
Досягнув, наконец, к потолкам,
Помнят свадьбы и елки,
И концерты, и бредни, и гам;

Драгоценные лица,
Спор концепций и диспуты вер —
Все, что жаждется, снится,
Что творится,— от правд до химер.

Эта комната светит
Среди ночи, как маленький куб,—
Ей так мирно в привете
Твоих рук, твоих глаз, твоих губ.

До далеких Басманных,
До Хамовников, хмурых Грузин
Свет годов нерастанных
Мне — вот здесь. Он певуч. Он — один.

Но над теплою крышей
Проплывает, как демон, наш век,
Буйный, вязкий и рыжий,
Будто ил взбаламученных рек.

Звездный атлас раскрою:
Грозен в чуткую ночь Зодиак,
И какому герою
По плечу сокрушить этот Мрак?

Ни границ, ни сравнений,
Как для путника в снежной степи...
Дай зарыться в колени,
Силу — знать и молчать — укрепи!
1958

* * *

Наитье зоркое привыкло
Вникать, в грозящий рухнуть час,
В размах чудовищного цикла,
Как вихрь летящего на нас.

Даль века вижу невозбранно,
А с уст — в беспамятстве, в бреду —
Готова вырваться осанна
Паденью, горю и суду.

Да, окоем родного края
Воспламенится, дрогнув, весь;
Но вижу, верю, слышу, знаю:
Пульс мира ныне бьется здесь.

По-новому постигло сердце
Старинный знак наш — Третий Рим,
Мечту народа-страстотерпца,
Орлом парящую над ним.

1950

РАЗМАХ

Есть в медлительной душе русских
Жар, растапливающий любой лед:
Дно всех бездн испытать в спусках
И до звезд совершать взлет.

И дерзанью души вторит
Шквал триумфов и шквал вины,—
К мировому Устью истории
Схожий с бурей полет страны.

Пламень жгучий и ветр морозный,
Тягу — вглубь, дальше всех черт,
В сердце нес Иоанн Грозный,
И Ермак, и простой смерд.

За Урал, за пургу Сибири,
За Амурский седой вал,
Дальше всех рубежей в мире
Рать казачью тот зов гнал.

Он гудел — он гудит, бьется
В славословьях, в бунтах, в хуле,
В огнищанах, в землепроходцах,
В гайдамацкой степной мгле.

Дальше! дальше! вперед! шире!
Напролом! напрорыв! вброд!
К злодеяньям, каких в мире
Не свершал ни один род.

И к безбрежным морям Братства,
К пиру братскому всех стран,
К солнцу, сыплющему богатства
Всем, кто не́зван и кто зван!..

Зов всемирных преображений,
Непонятных еще вчера,
Был и в муках самосожжений,
И в громовых шагах Петра.

И с легенд о последнем Риме,
От пророчеств во дни смут
Все безумней, неукротимей
Зовы Устья к сердцам льнут.

Этот свищущий ветр метельный,
Этот брызжущий хмель веков —
В нашей горечи беспредельной
И в безумствах большевиков.

В ком зажжется другим духом
Завтра он, как пожар всех?
Только слышу: гудит рухом
Даль грядущая — без вех.

1950

СОЧЕЛЬНИК

А. А.

Речи смолкли в подъезде.
Все ушли. Мы одни. Мы вдвоем.
Мы живые созвездья,
Как в блаженное детство, зажжем.

Пахнет воском и бором.
Белизна изразцов горяча,
И над хвойным убором
За свечой расцветает свеча.

И от теплого тока
Закачались, танцуя, шары —
Там, на ветках, высоко,
Вечной сказки цветы и миры.

А на белую скатерть,
На украшенный праздничный стол
Смотрит Светлая Матерь,
И мерцает Ее ореол.

Ей, Небесной Невесте —
Две последних, прекрасных свечи:
Да горят они вместе,
Неразлучно и свято в ночи.

Только вместе, о, вместе,
В угасаньи и в том, что за ним...
Божий знак в этой вести
Нам, затерянным, горьким, двоим.

1949

* * *

Утро. Изморось. Горечь сырая.
От ворот умолкшего рая
День и голод жесткою плетью
Гонят нас в бетонные клети.

По ночам — провидцы и маги,
Днем корпим над грудой бумаги,
Копошимся в листах фанеры,
Мы — бухгалтеры и инженеры.

Полируем спящие жёрла.
Маршируем под тяжкий жёрнов.
По неумолимым приказам
Перемалываем наш разум.

Все короче круги, короче.
И о правде минувшей ночи,
Семеня по узкому кругу,
Шепнуть не смеем друг другу.

Захлебнувшись фальшивым гимном,
Задыхаемся. Помоги нам,
Хоть на миг бетон расторгая,
Всемогущая! Всеблагая!

1935

ШКВАЛ

Одно громоносное слово
Рокочет от Реймса до Львова;
Зазубренны, дряхлы и ржавы
Колеблются замки Варшавы.
Как робот, как рок неуклонны,
Колонны, колонны, колонны
Ширяют, послушны зароку,
К востоку, к востоку, к востоку.

С полярных высот скандинавов
До тысячелетнего Нила
Уже прогремела их слава,
Уже прошумела их сила.
В Валгалле венцы уготовив,
Лишь Один могилы героев
Найдет в этих гноищах тленных
В Карпатах, Вогезах, Арденнах.

За городом город покорный
Облекся в дымящийся траур,
И трещиной — молнией черной —
Прорезался дрогнувший Тауер.
Усилья удвоит, утроит,
Но сердца уже не укроет
Бронею морей и туманов
Владычица всех океанов.

Беснуясь, бросают на шлемы
Бесформенный отсвет пожары
В тюльпанных лугах Гаарлема,
На выжженных нивах Харрара.
Одно громоносное имя
Гремит над полями нагими
И гонит, подобное року,
К востоку, к востоку, к востоку.

Провидец? пророк? узурпатор?
Игрок, исчисляющий ходы?
Иль впрямь — мировой император,

Вместилище Духа народа?
Как призрак, по горизонту
От фронта несется он к фронту,
Он с гением расы воочью
Беседует бешеной ночью.

Но странным и чуждым простором
Ложатся поля снеговые,
И смотрят загадочным взором
И Ангел и демон России.
И движутся легионеры
В пучину без края и меры,
В поля, неоглядные оку —
К востоку, к востоку, к востоку.

1941

* * *

Не блещут кремлевские звезды.
Не плещет толпа у трибуны.
Будь зорок! В столице безлунной,
Как в проруби зимней, черно...
Лишь дальний обугленный воздух
Прожекторы длинные режут,
Бросая лучистые мрежи
Глубоко на звездное дно.

Давно догорели пожары
В пустынях германского тыла.
Давно пепелище остыло
И Новгорода, и Орла.
Огромны ночные удары
В чугунную дверь горизонта:
Враг здесь. Уже сполохом фронта
Трепещет окрестная мгла.

Когда ж нарастающим гудом
Звучнеют пустые высоты
И толпы в подземные соты
Спешат, бормоча о конце —
Навстречу сверкают, как чудо,
Параболы звезд небывалых:
Зеленых, серебряных, алых
На тусклом ночном багреце.

Читай! В исполинском размахе
Вращается жёрнов возмездья,
Несутся и гаснут созвездья,
Над кровлями воет сполох,—
Свершается в небе и в прахе
Живой апокалипсис века:
Читай! Письмена эти — веха
Народов, и стран, и эпох.

1941
декабрь

* * *

А. А.

Ты еще драгоценней
Стала в эти кромешные дни.
О моем Авиценне
Оборвавшийся труд сохрани.

Нудный примус грохочет,
Обессмыслив из кухни весь дом:
Злая нежить хохочет
Над заветным и странным трудом.

Если нужно — под поезд
Ты рванешься, как ангел, за ним;
Ты умрешь, успокоясь,
Когда буду читаем и чтим.

Ты пребудешь бессменно,
Если сделаюсь жалок и стар;
Буду сброшен в геенну —
Ты ворвешься за мной, как Иштар.

Ты проносишь искусство,
Как свечу меж ладоней, во тьме,
И от снежного хруста
Шаг твой слышен в гробу и тюрьме.

Так прими скарабея —
Знак бессмертья, любви и труда.
Обещаю тебе я
Навсегда, навсегда, навсегда:

Может быть, эту ношу
Разроняю по злым городам,
Все швырну и отброшу,
Только веру и труд не предам!

1958

* * *

А сердце еще не сгорело в страданье,
Все просит и молит, таясь и шепча,
Певучих богатств и щедрот мирозданья
На этой земле, золотой как парча.

Неведомых далей, неслышанных песен,
Невиданных стран, непройденных дорог,
Где мир нераскрытый как в детстве чудесен,
Как юность пьянящ и как зрелость широк.

Безгрозного полдня над мирной рекою,
Куда я последний свой дар унесу,
И старости мудрой в безгневном покое
На пасеке, в вечно шумящем лесу.

Я сплю — и все счастье грядущих свиданий
С горячей землею мне снится теперь,
И образы невоплощенных созданий
Толпятся, стучась в мою нищую дверь.

Учи же меня! Всенародным ненастьем
Горчайшему самозабвенью учи,
Учи принимать чашу мук — как причастье,
А тусклое зарево бед — как лучи!

Когда же засвищет свинцовая вьюга
И шквалом кипящим ворвется ко мне —
Священную волю сурового друга
Учи понимать меня в судном огне.

1941

* * *

А. А.

И вот закрывается теплый дом,
И сени станут покрыты льдом.

Не обогреет старая печь
И негде будет усталым лечь.

Часы остановятся на девяти.
На подоконник — метель, мети!

Уже сухари, котелок, рюкзак...
Да будет так. Да будет так.

Куда забросит тебя пурга?
Где уберечься от бомб врага?

И где я встречу твои глаза?
И все же поднял я руку *за*.

На хищный запад, гнездовье тьмы,
Не ты пойдешь, а солдаты — мы.

Доверю жизнь я судьбе шальной,
И только имя твое — со мной.

Теперь, быть может, сам Яросвет
Не скажет демону русских «нет»:

Он вложит волю свою в ножны.
А мы — свою — вынимать должны.

Ремень ложится мне на плечо,
А в сердце пусто и горячо.

Одно еще остается: верь!
...И вот закрылась старая дверь.

1941—1958

БЕЗ ЗАСЛУГ

Если назначено встретить конец
Скоро,— теперь,— здесь —
Ради чего же этот прибой
Все возрастающих сил?

И почему — в своевольных снах
Золото дум кипит,
Будто в жерло вулкана гляжу,
Блеском лавы слепим?

Кто и зачем громоздит во мне
Глыбами, как циклоп,
Замыслы, для которых тесна
Узкая жизнь певца?

Или тому, кто не довершит
Дело призванья — здесь,
Смерть — как распахнутые врата
К осуществленью — *там*?

1950

ЛЕНИНГРАДСКИЙ АПОКАЛИПСИС

Поэма

Блажен, кто посетил сей мир
В его минуты роковые:
Его призвали всеблагие,
Как собеседника на пир.
Он их высоких зрелищ зритель,
Он в их совет допущен был
И заживо, как небожитель,
Из чаши их бессмертье пил.

Ф. Тютчев

1

Ночные ветры! Выси черные
Над снежным гробом Ленинграда!
Вы — испытанье; в вас награда;
И зорче ордена храню
Ту ночь, когда шаги упорные
Я слил во тьме Ледовой трассы
С угрюмым шагом русской расы,
До глаз закованной в броню.

2

С холмов Москвы, с полей Саратова,
Где волны зыблются ржаные,
С таежных недр, где вековые
Рождают кедры хвойный гул,
Для горестного дела ратного
Закон спаял нас воедино
И сквозь сугробы, вьюги, льдины
Живою цепью протянул.

3

Дыханье фронта здесь воочию
Ловили мы в чертах природы:

Мы — инженеры, счетоводы,
Юристы, урки, лесники,
Колхозники, врачи, рабочие —
Мы, злые псы народной псарни,
Курносые мальчишки, парни,
С двужильным нравом старики.

4

Косою сверхгигантов скошенным
Казался лес равнин Петровых,
Где кости пней шестиметровых
Торчали к небу, как стерня,
И чудилась сама пороша нам
Пропахшей отдаленным дымом
Тех битв, что Русь подняли дыбом
И рушат в океан огня.

5

В нас креп утробный ропот голода.
За этот месяц сколько раз мы
Преодолеть пытались спазмы,
Опустошающие мозг!
Но голод пух, мутил нам головы,
И видел каждый: воля, вера,
Рассудок — в этих лапах серых
Податливей, чем нежный воск.

6

Он заволакивал нам зрение,
Затягивал всю душу студнем;
Он только к пище, только к будням
Спешил направить труд ума...
Свои восторги, озарения,
Тоску, наитья, взрывы злобы

Рождает этот дух безлобый,
Бесформенный, как смерть сама.

7

Как страшно чуять эти щупальцы,
Сперва скользящие в желудке,
Потом — в сознанье, в промежутке
Меж двух идей, двух фраз, двух слов;
От паутины липкой щурится
И слепнет дух, дичает разум,
И мутный, медленный маразм
Жизнь превращает в рыск и в лов.

8

Прости, насыть, помилуй, Господи,
Пошли еще один кусок тем,
Кто после пшенной каши ногтем
Скребет по днищу котелка;
Кто, попадая в теплый госпиталь,
Сестер, хирургов молит тупо:
«Товарищ доктор, супа... супа!»
О, да, воистину жалка

9

Судьба того, кто мир наследовал
В его минуты роковые,
Кого призвали Всеблагие
Как собеседника на пир —
И кто лишь с поваром беседовал
Тайком, в походной кухне роты,
Суля ему за все щедроты
Табак — свой лучший сувенир.

10

Так начинался марш. Над Ладогой
Сгущались сумерки. На юге
Ракет германских злые дуги
Порой вились... Но ветер креп:
Он сверхъестественную радугу
Залить пытался плотным мраком,
Перед враждебным Зодиаком
Натягивая плотный креп.

11

И все ж порою в отдалении
Фонтаны света — то лиловый,
То едко-желтый, то багровый,
То ядовито-голубой —
Вдруг вспыхивали на мгновение,
Как отблески на башнях черных
От пламени в незримых горнах
Над дикой нашею судьбой.

12

А здесь, под снеговой кирасою,
От наших глаз скрывали воды
Разбомбленные пароходы,
Расстрелянные поезда,
Прах самолетов, что над трассою
Вести пытались оборону,
Теперь же — к тинистому лону
Прижались грудью навсегда.

13

Вперед, вперед! Быть может, к полночи
И мы вот так же молча ляжем,

Как эти птицы, фюзеляжем
До глаз зарывшиеся в ил,
И озеро тугими волнами
Над нами справит чин отходной,
Чтоб непробудный мрак подводный
Нам мавзолеем вечным был.

14

Мы знали все: вкруг Непреклонного
Блокада петлю распростерла.
Как раненный навылет в горло,
Дышать он лишь сквозь трубку мог —
Сквозь трассу Ладоги... Со стонами
Хватал он воздух узким входом
И гнал по жаждущим заводам
Свой каждый судорожный вдох.

15

Мы знали все: что гекатомбами
Он платит за свое дыханье;
Что в речи русской нет названья
Безумствам боевой зимы;
Что Эрмитаж стоит под бомбами;
В домах мороз; мощь льда рвет трубы;
Паек — сто грамм. На Невском трупы...
О людоедстве знали мы.

16

Нас бил озноб. Уж не беседовал
В пути никто. Еще мы знали:
Спасают нас от смертной стали
Ночь, снегопад, полярный шторм...
Враг не встречал нас, не преследовал,

Наш путь не видел с небосвода...
И поглотила непогода
Остатки линий, красок, форм.

17

Зачем мы шли? Во что мы верили?
Один не спрашивал другого.
У всех единственное слово
В душе чеканилось: — Иди! —
...Как яхонты на черном веере
Навстречу вспыхивали фары,
Неслись, неслись — за парой пара —
Неслись — и гасли позади.

18

И снежно-белые галактики
В неистовом круговращеньи
На краткий миг слепили зренье
Лучом в глаза... А шторм все рос,
Как будто сам Владыка Арктики
Раскрыл гигантские ворота
Для вольного круговорота
Буранов, пург и снежных гроз.

19

Он помогал нам той же мерою
И к тем же страшным гнал победам,
Каким явился нашим дедам
В бессмертный год Бородина...
Кто опровергнет это? Верую,
Что страстная судьба народа
С безумной музыкой природы
Всечастно переплетена.

20

Когда ширял орел Германии
К кремлевским башням в сорок первом,
Когда сам воздух стал неверным,
От канонад дрожать устав,
Когда в отчаяньи, заранее
Народ метался по вокзалам,—
Не он ли встал морозным валом
У обессилевших застав?

21

Он встал, морозным дымом кутаясь,
Сильней всех ратей, всех оружий,
Дыша неистовою стужей,
Врагу — погибель, нам — покров...
Нефть замерзала. Карты спутались,
Сорвался натиск вражьих армий...
Над свитками народной кармы
Лишь он маячил — дух снегов!

22

В былые дни, над лукоморьями,
По немеречам, рвам, полянам,
Не он ли грезился древлянам
Как хладом свищущий Стрибог?
Он правил ветреными зорями,
Аукал вьюгой у костра нам,
И в чистом поле под бураном
Его любой увидеть мог.

23

Нас, сыновей кочевья вольного,
Он любит странною любовью,

Он наших предков вел к низовью
Размашистых сибирских рек;
В суземах бора многоствольного
Костры охотников он любит,
Он не заманит, не загубит,
Он охраняет их ночлег.

24

Но если даль вскипает войнами
И в вихревом круговороте
Свободный цвет народной плоти
В бою ложится под палаш —
Ветрами, вьюгами, сувоями
Встает он русским в оборону;
Его мирам, державе, трону
Есть имя тайное — Ахаш.

25

Он вывел нас. Когда морозные
Открылись утренние дали,
Мы, оглянувшись, увидали
С лесистых круч береговых,
Как ярко-ярко-ярко-розовой
Порфирой озеро сверкало
И мрели льдистые зеркала —
Гробница мертвых, путь живых.

26

В потемках ночи от дивизии
Мы оторвались. Только трое —
Не командиры, не герои —
Брели мы, злобясь и дрожа.
Где отдохнуть? Достать провизии?
Мороз... бездомье... скудный завтрак...

И мы не думали про «завтра»
У фронтового рубежа.

27

Но если ты провидишь вскорости
Блиндаж, стволы «катюш», окопы,
Геройский марш в полях Европы
До Brandenburger Tor[1] — забудь:
В другом, вам незнакомом хворосте
Уже затлелся угль поэмы
И губы строф железно-немы
Для песен, петых кем-нибудь.

28

За небывалой песней следую
По бранным рытвинам эпохи.
Воронки... Мрак... Вверху — сполохи
Да туч багровых бахрома,
Но вещим ямбом не поведаю
О зримом, ясном, общем, явном,—
Лишь о прозреньи своенравном
Превыше сердца и ума.

29

Зачаток правды есть и в надолбах,
Упорным лбом шоссе блюдущих,
В упрямстве танков, в бой бредущих,
В бесстрашной прыти муравья,
Но никогда не мог я на́долго
Замкнуться в этой правде дробной:
Манил туман меня загробный
И космос инобытия.

---

[1] Бранденбургские ворота *(нем.)*.

30

Немного тех, кто явь военную
Вот так воспринял, видел, понял;
Как в тучах ржут петровы кони
Не слышал, может быть, никто;
Но сладко новую вселенную
Прозреть у фронтового края,
И если был один вчера я —
Теперь нас десять, завтра — сто.

31

А ночь у входа в город гибели
Нас караулила. Все туже
Январская дымилась стужа
Над Выборгскою стороной.
Нет никого. Лишь зданья вздыбили
Остатки стен, как сгустки туши —
Свои тоскующие души,
Столетий каменный отстой.

32

Как я любил их! Гений зодчества,
Паривший некогда над Римом,
Дарил штрихом неповторимым,
Необщим — каждое из них;
Лишь дух роднил их все, как отчество
Объединяет членов рода;
Как пестроту глаголов ода
Объединяет в мерный стих.

33

Все излученья человеческих
Сердец, здесь бившихся когда-то,

Их страсть, борьба, мечты, утраты,
Восторг удач и боль обид
Слились в единый сплав для вечности
С идеей зодчего: с фронтоном,
С резьбой чугунной по балконам,
С величием кариатид.

34

И вот теперь, покрыты струпьями
Неисцелимого распада,
Огнем разверзшегося ада
До самых крыш опалены,
Они казались — нет, не трупами —
Их плоть разбита, лик разрушен —
Развоплощаемые души
На нас взирали с вышины.

35

Как будто горькой, горькой мудростью,
Нам непонятным, страшным знаньем
Обогатила эти зданья
Разрушившая их война.
И, Господи! — какою скудостью
Нам показались беды наши,
Что пили мы из полной чаши
И все ж не выпили до дна!

36

Утих сам голод. Одичание
Усталых воль, сознанья, тела
Забылось. Родина смотрела
На каждого из нас. По льду
Мы шли без слов, без слез, в молчании,
Как входят дети друг за другом

К отцу, что истомлен недугом,
Встречает смерть в ночном бреду.

37

А там за выбитыми окнами,
За кусковатою фанерой,
Без дров, без пищи, в стуже серой
Чуть теплились едва-едва
И полумертвыми волокнами
Еще влачились жизни, жизни,
Все до конца отдав Отчизне
И не дождавшись торжества.

38

Героика ль? Самоотдача ли?
О нет! Насколько проще, суше
И обыденней гибнут души
В годину русских бед и смут!
Но то, что неприметно начали
Они своею жертвой строгой,
Быть может, смертною дорогой
Они до рая донесут.

39

Вдруг среди зданий, темных дóчерна,
Звено я различил пустое,
Даль, берега, мостов устои
И дремлющие крейсера,
И под соборным стройным очерком
Неву в покрове смутно-сером —
Мать стольким грезам и химерам,
Подругу вечную Петра.

40

Подругу, музу, крест и заповедь
Великого державотворца,
Чье богатырское упорство
Гнало Россию в ширь морей,
Спаявшего мечту о Западе
С мечтою о победных рострах,
О сходбищах вселенной, пестрых
От флагов, вымпелов и рей.

41

Столица!.. Ледяной и пламенной,
Туманной, бурной, грозной, шумной,
Ее ковал ковач безумный,
Безжалостный, как острие;
Здесь, во дворцах, в ковчегах каменных
Душа народа пребывала.
Душа страны запировала
В безбрежных празднествах ее.

42

Слились в твореньи императора,
В тяжелом, кованом обличьи
Гордыня, дерзость, гнев, величье
И жадность к жизни, и мечта,
И, точно лава бьет из кратера,
Она рванулась в путь кровавый —
Новорожденною державой,
Триумфом бранным залита.

43

И был в творце ее гром чуждого,
К нам низвергавшегося мира,

Как будто эхо битв и пира
Богов на высях бытия...
Кто безотчетно не предчувствовал
В его шагах, чертах, фигуре
Вместилище нездешней бури,
Нечеловеческого «я»?

44

Кто б ни был ты, мой спутник временный
По этим грубым, плотным ямбам,
Поверь: непрочным, зыбким дамбам
Подобны глыбы этих строф!
Пять-шесть страниц — и обесцененный
Мир логики и правил мнимых
Затопит шквал непримиримых,
Друг с другом бьющихся миров.

45

Пучина иррационального
Уж бьет в сторожевые камни.
Ночную душу жжет тоска мне
Перед грядущим. Ткань стиха
Дрожит, звенит от шторма дальнего,
Как холст ветрил от напряженья;
Уста в пыланьи, мысль в круженьи,
И, как песок, гортань суха.

46

Трудам и славе человеческой
Пусть дифирамб творят другие:
Не ту я слышал литургию
В раскатах битвы мировой...

Поэма бури! Стань ответчицей
Всем, кто почуял слухом сердца
Глагол и шаг Народодержца
Сквозь этот хаос, гул и вой!

47

А в час, когда немеешь замертво
У потрясающего спуска,
В закономерностях искусства
Опору мыслям укажи;
От непроглядных волн беспамятства
Обереги свечу сознанья;
К простым домам, проспектам, зданьям
Повествованье привяжи!

48

Напомни, как шаги усталые
Тонули в пухнувших сугробах,
Как глухо в каменных утробах
Жизнь полумертвая спала;
Как за кромешными кварталами
Мелькнул трамвай — пять слабых точек,
И робкий синий огонечек
Глубь жадных улиц пожрала.

49

И вот, над городскими волнами
Плывя, подобно черным рострам,
Угрюмый замок шпилем острым
Предстал, темнея сквозь сады.
Прямые, жесткие, безмолвные,
На стенах цвета жухлой крови
Чеканились еще суровей
Лепные черные ряды.

50

Не здесь ли роковое зарево
Для всех веков над Русью встало?
Взмах смертоносного металла
Был точен в пальцах Эвменид,
И в пышной спальне государевой
В ночь на двенадцатое марта
Царю в лицо метнулась карта
Со списком вин, злодейств, обид.

51

В ту полночь, в оттепель, в ненастие,
Кружилось карканье над парком.
И виделось бессонным Паркам
Над неумолчной прялкой: вот
Ложится древний грех династии
С отца на сына — в роды, роды,
Пока его сам дух народа
В день казни царской не возьмет.

52

В день казни царской?.. Но по-прежнему
У замка, где скончался Павел,
Уздою бронзовою правил
Колосс на пасмурном коне:
Открыт дождям и ветру снежному,—
Не Медный Всадник той поэмы,
Что с детских лет лелеем все мы,
Но тот же царь, с железом, в броне.

53

Я помнил надпись — «Правнук — Прадеду».
И лик, беззвучно говорящий

России прошлой, настоящей
И сонму мчащихся эпох:
«Где новый враг? Его попрать иду
Всей правдой моего Закона.
Мой стольный город — вот икона!
Держава русская — вот бог!»

54

Да: вихрем творческим охваченный,
Он сам не знал, какая сила
В нем безвозвратно угасила
Светильник тусклой старины.
И что за дух, к чему назначенный,
Им движет, как царем, пророком,
Строителем, всевластным роком
И гением его страны.

55

Не тот ли властный дух, что кроется
Чуть слышно в каждом русском сердце,
Кем были твёрды староверцы
И славны древние князья —
До всех времен рожденный Троицей
Бессмертный Ангел сверх-народа,
Его бессмертная природа,
Его возвышенное Я?

56

Из рода в род, в чреде Романовых
Ваял из плоти поколений
Он вестника своих велений,
Орудье верное свое,

Того, кто призван строить наново
Ему вместилище и форму.
Кто бодро, подвигом упорным
Пересоздаст все бытие.

57

Но в волю молодого зодчего
Облекся, как в живое платье,
Носитель древнего проклятья,
Давно клубившийся впотьмах,
Давно искавший трона óтчего
Над сукровицей плах стрелецких,
Над кривдой казней москворецких,
В лукавых, душных теремах.

58

Он рос присосками раздутыми
Над Шлиссельбургом, над Азовом,
Над тихим Доном бирюзовым,
У грузных нарвских стен жирел,
Пока над вражьими редутами
Клубился дым, взлетали бревна
И пушки метко, мерно, ровно
Гремели с выгнутых галер.

59

И чем огромней рдело зарево
От всероссийского страданья,
Тем голод адского созданья
Все возрастал, ярился, пух,—
И, сам не зная, принял царь его
В свое бушующее сердце,

Скрестив в деяньях самодержца
Наитья двух — и волю двух.

60

И в эту ночь пустынно-синюю
По снеговому бездорожью
Я приближался с тайной дрожью
К подножью медного царя.
Но странно: где ж он?.. Четкой линией
Спрямлен на месте монумента
Трамвайный путь — стальная лента
В стесненном круге фонаря.

61

Куда ж он взят?.. К каким ристаниям
Скакун готовится чугунный?
Где, об какой утес бурунный
Теперь дробится цок копыт?..
Все тихо. В снежном одеянии
Насторожённое безлюдье.
Столица, с обнаженной грудью,
Полураздавленная, спит.

62

Тумм... Тишина. Тум-Тумм... В предместии
Как будто стук тамтама смутный,
Из капищ ночи стон минутный,
Темп убыстрен — тум-тум! тум-тум! —
И, будто грозное известие
В созвучии тупом читая,
Трескучих, острых звуков стая
На миг взвивается. Самум

63

Взревел и смолк. Но тихой рамою
Теперь вся ночь для звуков новых,
Весь утлый мир в его основах
Колеблющих до самых недр:
То хроматическою гаммою
Незримые взвывают груди —
Не гул моторов, не орудья,
Не плеск толпы, не гром, не ветр.

64

Нечеловеческою жалобой,
Тревогой, алчною тоскою
Над паутиной городскою
Ревут, стенают, плачут с крыш;
От этих воплей задрожали бы,
Как лани, чудища Триаса,
Недотерзав живого мяса
И кроясь с ужасом в камыш.

65

Что за творенья — над столицею,
Но в мире смежном, странном, голом,
Доселе скрытые, свой голос
В ночных сиренах обрели?
Зачем телами, взором, лицами
Их не облек владыка ада?
Что им грозит? и что им надо
В раздорах горестной земли?

66

В мозгу неслась, мелькая клочьями,
Тень незапамятных поверий,

Другая быль других империй,
И по старинным городам
Угаданные смутно зодчими
Созданья странной, скорбной веры —
Взирающие вниз химеры
На серых глыбах Нотр-Дам.

67

Из ниш Бастилии и Тауэра,
Из Моабита, в тьму взлетая,
Не их ли сестры хищной стаей
Вились у плах, как воронье?
То ль звук, то ль слово: *уицрáора!* —
Я слышу явственно в их реве.
Биенье ли нездешней крови
В стальных сосудах?.. имя?.. чье?

68

Кто их защитник?.. Правосудия
Не ждать от ночи вероломной:
Сегодня — сроки битве темной,
Власть — экразиту, мощь — свинцу...
И слышно: ухают орудия
За выщербленным горизонтом.
Где Ленинград рассечен фронтом.
Как шрамом свежим по лицу.

69

И будто от стальной хроматики
Очнулись демоны чистилищ.
Владыка медлит — он в пути лишь,—
Но слуги верные уже
С размеренностью математики
И с фантастичностью миража
Прядут светящуюся пряжу
Там, на небесном рубеже.

70

Перебегающая аура
Над городом, мерцая, встала.
Уж зданья — только пьедесталы
Для строя призрачных колонн.
Все зыблется... Обрывки траура
Сминают световые когти,
Протягиваясь в гавань, к Охте,
И обнажая небосклон.

71

Там, в облачных, косматых, взринутых,
Из мрака выхваченных волнах,
Где сквозь воронки смотрит полночь,
Как сатана через плечо,—
Оттуда, с быстротою кинутых
Камней — как тень, ныряет, мчится,
Летит рокочущая птица —
Еще! еще! еще! еще!

72

На этот город, не сдающийся
Пред неизбежною минутой,
Кого спасти от смерти лютой
Не снидет правый серафим;
На люд, в убежищах мятущийся;
На улицы, где каждый камень
Истерт священными веками,
Российским Гением творим;

73

На все, что в сонных залах заперто
Под хрупкой кровлею дворцовой;

На гордый храм златовенцовый,
Граниты, бронзу, мрамор, туф...
И на несчастных, спящих замертво
В сырых постелях, мерзлых норах,
Старья и рвани пестрый ворох
До глаз в ознобе натянув.

74

О, знаю: зрению телесному
Ты не предстанешь в плотной яви:
Она тесна; Твоей ли славе
Замкнуться в сеть координат?
Но Ты могуч! дорогу крестную
Ты облегчить нам можешь! можешь!
Страна горит; пора, о, боже,
Забыть, кто прав, кто виноват.

75

Нет, не Творца Триипостасного
Я именую этим словом
Теперь, вот здесь, когда громовым
Раскатом град наш потрясен;
Тебя! нас слышащего! страстного,
Живого Ангела Народа,
Творца страны — с минут восхода
И до конца ее времен...

76

Но не другой ли — тот, чьей помощи
Молили в ужасе химеры,
Кто медлит в мраке дальней сферы,
Тысячеглаз, тысячерук,

Шлет слуг, все видящих, все помнящих,
Все слышащих в трехмерном мире,
Рождающих в пустом эфире
Подобный звону лиры, звук?

77

Звучаньем струнным истребителей
Насквозь пронизано пространство,
И, множа звездное убранство
Тысячекрат, тысячекрат,
То ль негодующих гонителей
В зените вспыхивают очи,
То ль искрятся в высотах ночи
Сердца борцов за Ленинград.

78

Но нет: ни бранный труд их, сверенный
С приказами, с расчетом, с планом,
Ни бьющий снизу вверх фонтаном
Поток трассирующих звезд
Не отвратят полет размеренный,
Не сберегут столицу славы
От превращенья в прах безглавый,
В золу, в пожарище, в погост.

79

Уже и здесь, где тьмы покров еще
Не совлечен горящим громом,
Кварталы сжались робким комом,
В ознобе числя бег минут:
Так ждут безвредные чудовища,
Пока промчатся с воем волки:

Здесь лишь свистящие осколки
Небесной битвы камень бьют.

80

Вперед! вдоль темных стен! И далее —
В туннель ворот... Оттуда вижу:
В горящем небе, ниже, ниже,
Поблескивающий дюраль,—
Слились в бурлящей вакханалии
Треск пулеметов, голк зениток,
И, разворачивая свиток
Живых письмен, зарделась даль.

81

Так что же: войско *уицра́ора*
Бессильно перед мощью вражьей?
Россия гибнет — кто же страж ей?
Где Демиург, где кормчий — где?!
Ответа нет. Глухим брандмауэром
Лишь замок, горестный, покорный,
Как черный контур глыбы горной,
Как остров в пламенной воде.

82

Внезапно, с яркостью слепительной,
Я различил портал... карнизы,
Фронтон... всю каменную ризу,
Тьмой скрытую лишь миг назад,
И низкий свод ворот — хранитель мой —
Вдруг залило потоком света,
Как если б жгучая комета
Бичом ударила в глаза.

83

Видением апокалиптики
Изжелта-ржавое светило,
Слегка покачиваясь, плыло
На фиолетовый зенит,
А в плоскости его эклиптики
Незримый враг спешил подвесить
Другие — восемь, девять, десять
Пульсирующих цефеид.

84

Как будто глубь загробных стран живым
На миг свое отверзло небо:
Железно-ржавое от гнева,
Все в ядовитой желтизне...
На мостовой снег стал оранжевым.
Все маски сорваны. Напрасно
Метаться и молиться: ясны
Все пятна на любой стене.

85

Как пазорь, полыхнула аура,
И, оглушенный лязгом брани,
Я слышал на прозрачной грани
Метафизических пустынь,
Как выли своры «уицраора»,
Химеры лаяли по-волчьи,
И кто-то лютый, неумолчный,
Расстреливал звезду-полынь.

86

Проклятым светом одурманенный,
Чуть различал, весь съежась, разум,
Что небо виснет желтым газом,
Светящеюся бахромой,
Что из звезды, смертельно раненной,
Поникшей, но еще крылатой,
Течет расплавленное злато
И — падает на город мой.

87

Родиться в век духовных оползней,
В век колебанья всех устоев,
Когда, смятенье душ утроив,
Сквозь жизнь зияет новый смысл;
До боли вглядываться в пропасти,
В кипящие извивы бури,
В круги, что чертят по культуре
Концы гигантских коромысл;

88

Годами созерцать воочию
Бой древней сути — с новой сутью,
Лишь для того, чтоб на распутьи,
Когда день гнева наступил,
Стоять, как мальчик, в средоточии
Бушующего мирозданья,
Не разгадав — ни содержанья,
Ни направленья буйных сил...

89

Не причастившись, не покаявшись,
Не умягчась святой обедней,
Вступить на этот край последний,
В его свинцовую пургу,
И этот новый Апокалипсис
Читая полночью бессонной,
Лишь понимать, что смысл бездонный
Расшифровать я не могу.

90

Отец! Господь! Прерви блуждания
Смертельно жаждущего духа!
Коснись, Верховный Лирник, слуха

Своею дивною игрой!
Пусть сквозь утраты, боль, страдания
К Твоим мирам ведет дорога;
Раздвинь мой разум! Хоть немного
Дверь заповедную открой!

91

Дай разуметь, какими безднами
Окружены со всех сторон мы:
Какие бдят над Русью сонмы
Недремлющих иерархи́й:
Зачем кровавыми, железными
Они ведут ее тропами —
Они, то чистые как пламя,
То леденящие, как Вий!

92

И если ясных вод познания
Я зачерпну в духовном море,
Где над Кремлем Небесным зори
Едва мерцают в мир греха,
Ты помоги гранить в молчании
Сосуд, их ясности достойный:
Чеканный, звучный, строгий, стройный
Сосуд прозрачного стиха.

93

Горька, бесцельна ноша мудрости
Невоплощенной в знаке внятном,
Когда лишь зыбким, беглым пятнам
Подобны смутные слова:
Чем дух зрелей, тем горше труд расти
Над словом должен — верю, знаю,
Но скорбный искус принимаю
И возвращаю все права.

94

...И в этот миг на небосводе я
Заслышал ноту: через хаос
Она, планируя, спускалась
Как шелест струн, как звоны льда.
Певуче-хрупкая мелодия
Переломилась вдруг, и квинта
В глубь городского лабиринта,
Завыв, обрушилась: сюда!

95

Сквозь воздух, онемевший замертво,
На старый замок то́нна тола
Низверглась — кровлю, толщу пола,
Стропил, покрытий — пронизав.
Все замолчало. Время замерло.
Я ждал секунду, двадцать, тридцать,
Минуту, что воспламенится,
Бушуя, дьявольский состав.

96

Казалось, небо, мироздание,
Сам Бог — молчат, склонясь над раной...
И вдруг: разгульный, дикий, пьяный
Ему дозволенной борьбой
Метнулся вверх из центра здания
Протуберанц огня и света,
Весь голубой, как полдень лета,
Да! Золотисто-голубой!

97

За расколовшимися стенами,
Сквозь вылетающие рамы,

Открылась вдруг, как сердце храма,
Лазурным светом залита,
Глубь старой залы с гобеленами,
Хрустальных люстр огонь холодный,
Полотен сумрак благородный —
Культура, мудрость, красота.

98

Утробное, слепое, душное
Дрожанье зримого пространства
Нас сотрясло. Казалось, трансом
Вещественный охвачен слой.
И раньше, чем волна воздушная
Хлестнула в грудь — блик озаренья
Сверкнул во внутреннее зренье,
Досель окутанное мглой.

99

Там, где враждебное созвездие
Сгорало медленно в зените,
Струя оранжевые нити
И золотые капли слез,
Лик венценосного наездника
Средь рыжих туч на небе черном
Мелькнул, как выхваченный в горном
Хребте немыслимый утес.

100

Но Боже! не верховным воином
Он бушевал в бою всемирном:
Кто искус длит в краю эфирном,
Тот не вершитель наших сеч;
Нет: он удвоенным, утроенным
Был грузом призрачным придавлен,

Громадой царства был оставлен
Ее держать, хранить, стеречь.

101

Она дрожала, гулко лязгая,
В кромешной ярости зверея,
А он, бессмертный, не старея,
Не мог, не смел разбить оков:
Немыслимая тяжесть адская
Ему давила плечи, выю,
Гнела на мышцы вековые
Кариатиде трех веков.

102

Я видел снизу угол челюсти,
Ноздрей раздувшиеся крылья,
Печать безумного усилья
На искажающемся лбу,
И взор: такого взора вынести
Душа не в силах — слепо-черный,
Сосущий, пристальный, упорный —
Взор, прозревающий судьбу.

103

В нем было все, чем зачарована
России страшная дорога:
Гордыня человекобога
И каменная слепота
Могучих воль, навек прикованных
К громаде мировой державы,
Весь рок кощунств ее и славы,
Ее меча,— венца,— щита.

104

То был конец: волна весомая
Настигла, ухнула, швырнула,
Как длань чудовища... От гула
Слух кончился. Упал? Стою?
И ночь беспамятства в лицо мое
Пахнула ширью вод холодных,
Чтоб свиток бед и гроз народных
Я дочитал в ином краю.

105

Но где же?.. Где же смерть? Лишь тусклое
Лицо Петра в зените плотном,
Светясь сюда, в угрюмый грот нам
Маячило, а наверху —
Над ним — напруженными мускулами
Не знаю, что росло, металось,
Самодержавное, как фаллос,
Но зрячее... Вразрез стиху,

106

Расторгнув строфы благостройные,
Оно в мой сказ вошло, как Демон.
Теперь я знаю, кто он, с кем он,
Откуда он, с какого тла:
Он зрим сквозь битвы многослойные,
Но очертить его не властен
Ни наших знаний кодекс ясный,
Ни рубрики добра и зла.

107

Он был свиреп и горд. Змеиная
Взвивалась шея к тучам бурым,

И там, в подобных амбразурам
Прорывах мчащихся, на миг
Глаз сумрачного исполина я
Узрел, как с низменных подножий
Зрят пики гор, и не похожий
Ни на кого из смертных лик.

108

В зрачке, сурово перерезанном,
Как у орла, тяжелым веком,
Тлел не вместимый человеком
Огонь, как в черном хрустале...
Какая сталь, чугун, железо нам
Передадут хоть отголосок
От шороха его присосок
И ног, бредущих по земле?

109

Дрожа, я прянул в щель. В нем чудилось
Шуршанье миллионов жизней,
Как черви в рыбьей головизне
Кишевших меж волокон тьмы...
Господь! Неужто это чудище
С врагом боролось нашей ратью,
А вождь был только рукоятью
Его меча, слепой, как мы?

110

Так кто же враг?.. И на мгновение
Я различил, что Запад чадный
Весь заслонен другой громадой,
Пульсирующей... что она

В перистальтическом движении
Еще грозней, лютей, звериней,
Чем тот, кто русскою твердыней
Одетый, борется без сна.

111

А здесь, внизу, туманным мороком
Переливались тени жизней —
Те, кто погиб. В загробной тризне
Их клочья вихрились кругом,
Как вьюга серая над городом.
Не знаю, что они творили —
Без лиц, без образа, без крылий —
Быть может, длили бой с врагом.

112

Язвящее, простое горе я
Изведаю в тот день далекий,
Когда прочтут вот эти строки
Глаза потомков, и — не весть,
Но мертвенную аллегорию
Усмотрят в образе гиганта.
Он есть! Он тверже адаманта,
Реальней нас! Он был! Он есть!

113

Как мышь в нору вдавиться пробуя
В щель среди глыб, я знал, что тело
Затиснуто, но не сумела
Обресть защиту голова.
Нет, не в могилу, не ко гробу я
Сорвался спуском инозначным —

К непостижимым, смежным, мрачным
Мирам — исподу вещества.

114

Молитва, точно вопль о помощи,
Рванулась вверх. Но нет, не Бога
Сюда, в мир Гога и Магога,
Смел звать изнемогавший дух.
Хоть нить во мраке гробовом ища,
Он рвался в пристани другие:
В присноблагой Синклит России —
Превыше войн, побед, разрух.

115

Пусть Демон Великодержавия
Чудовищен, безмерен, грозен;
Пусть миллионы жизней оземь
Швырнуть ему не жаль. Но Ты —
Ты, Яросвете, от бесславия
Ужель не дашь благословенья
На горестное принесенье
Жертв — для российской правоты?

116

Ведь луч руки благословляющей
Над Темным Демоном России
Теперь потух; пусть оросили
Стремнины крови трон ему!
Но неужели ж укрепляющий
Огонь Верховной светлой воли
В час битв за Русь не вспыхнет боле
Над ним — в пороховом дыму?

117

Я чувствовал, как око чудища,
С неутолимой злобой шаря
Из слоя в слой, от твари к твари,
Скользит по ближним граням льда,
Вонзается, меж черных груд ища
Мою судьбу, в руины замка
И, не найдя, петлей, как лямка,
Ширяет по снегу сюда.

118

Быть может, в старину раскольникам
Знаком был тот нездешний ужас,
В виденьях ада обнаружась
И жизнь пожаром осветя.
Блажен, кто не бывал невольником
Метафизического страха!
Он может мнить, что пытка, плаха —
Предел всех мук. Дитя, дитя!

119

Чем угрожал он? Чем он властвовал?
Какою пыткой, смертью?.. Полно:
Откуда знать?.. Послушны волны
Ему железных магм в аду,
И каждый гребень, каждый пласт и вал
Дрожал пред ним мельчайшей дрожью,
Не смея вспомнить Матерь Божью
И тьме покорный, как суду.

120

Не сразу понял я, кто с нежностью
Замглил голубоватой дымкой

Мне дух и тело, невидимкой
Укрыв от цепких глаз врага.
Другою, высшей неизбежностью
Сместились цифры измерений,
И дал на миг защитник-Гений
Прозреть другие берега.

121

Метавшееся, опаленное,
Сознанье с воплем устремилось
В проем миров. Оттуда Милость
Текла, и Свет крепчал и рос,
И Тот, Кого неутоленная
Душа звала, молила с детства,
Дал ощутить Свое соседство
С мирами сопредельных гроз.

122

О, как незрело, тускло, иначе
Ум представлял нетерпеливый
Вот этих радуг переливы,
Смерчи лучей... Совсем не так!
О свышеангельный Светильниче!
Вождю прекрасный, Яросвете!
В чьем откровеньи, в чьем завете
Хоть раз начертан был твой знак?

123

Тебя Архангелом Отечества
Назвал я в отроческой вере,
Когда Ты мне сквозь сон в преддверье
Кремля Небесного предстал.
Огни легенд, лампады жречества,
Пожар столиц, огни восстаний

Мне стали искрами блистаний,
Окутавших Твой пьедестал.

124

Превыше царственной чугунности
Твердынь, казарм, дворцов и тюрем
Я слышал неподвластный бурям
Твой голос с мирной вышины.
И в годы те, на грани юности,
Душа зажглась мечтой о храме,
О литургийном фимиаме
Тебе — в столице всей страны.

125

Теперь... Теперь я знал! Я чувствовал!
Не слухом, не трехмерным зреньем,
Но целокупным предвареньем
И всем составом всей души;
Рок века сам меня напутствовал,
Годами скорбными готовя,
И вот теперь шептал с любовью:
Взирай. Не бойся. Запиши.

126

Быть может, нынче, невской полночью
Дух из своей ограды вышел:
В Тебе, в Тебе я странно слышал
Покой, огромный как чертог,
И там, в тумане лунно-солнечном
Не знаю, что и чем творили
Те, кто столетьями усилий
К Тебе взойти сквозь гибель смог.

127

Там души гор вздымали, шествуя.
Хорал ко Храму Солнца Мира:
Там многоцветные эфиры
Простерлись как слои морей,
Там клиры стихиалей, пестуя
Цветы лугов песнопоющих,
Смеясь звенели в дивных кущах
Непредставимых алтарей.

128

И, точно в беззакатных праздниках
Незримый град России строя,
Там родомыслы и герои
Уже творили купола,
А души гениев — и праведных —
Друг другу вниз передавали
Сосуды света — дале, дале,
Все ниже, ниже — к лону зла.

129

О, не могу ни в тесном разуме,
Ни в чаше чувств — того вместить я,
Что сверх ума и сверх наитья
Ты дал теперь мне, как царю,
Что не словами, но алмазами
Ты начертал в кровавом небе;
О чем, как о насущном хлебе,
Теперь стихом я говорю.

130

Нездешней сладостью и горечью
Познанья жгучего отравлен,

Кому Российский космос явлен
Сквозь щель обрушившихся плит —
Он будет нем на шумном сборище
И полн надежд в годину страха,
Он, поднятый из тьмы и страха,
Как собеседник, в Твой Синклит.

131

Там, в осиянном средоточии,
Неразрушимом, недоступном,
И по блистающим уступам
Миров, готовятся пути,
И строят праведные зодчие
Духовный спуск к народам мира —
Вино небесного потира
Эпохам будущим нести.

132

Так душу бил озноб познания,
Слепя глаза лиловым, чермным,
А сквозь разъявшийся infernum[1]
Уже мерцал мне новый слой —
Похожий на воспоминание
О старой жизни с прежним телом,
Как будто кто-то в белом-белом
К лицу склонялся надо мной.

133

Та белизна была бездушною,
Сухой, слепой, небогомольной...

---

[1] Ад, преисподня *(лат.)*.

И странно: стало больно-больно,
Что кончен вещий лабиринт...
...Что врач склонился над подушкою,
Что всюду — белизна палаты,
А грудь сдавил, гнетя как латы,
Кровавый, плотный, душный бинт.

1949—1953 гг.
Владимир

НАВНА

Поэма

Моей возлюбленной,
жене и другу, Алле Андреевой,
посвящаю эту вещь.
Даниил Андреев

Вторую вещь, посвященную ей, «Плаванье к Небесному Кремлю» я написать не успел.

28.II.59
Москва

Если бы даже кудесник премудрый
Тогда погрузил, размышляя про быль или небыль,
Пронзительный взор в синекудрое небо —
        Он бы Ее не заметил.
        Прозрачен и светел
Был синий простор Ее глаз
И с синью сливался небесной.

Это — в высотах, доныне безвестных
        Для нас,
Она, наклонясь, озирала
Пространства земные
И думала: где бы коснуться земного впервые.

Внизу простирались пустынные пади
        Эфирного слоя.
На юге и на востоке вздымались
Медленно строившиеся громады
        Старших метакультур.

        Хмур
Запад был бурный. И мглою,
Как бурой оградой,
Скрывалось блистающее сооруженье
С вершиной из ясного фирна.
И крылья мышиные темно-эфирных циклонов
В бурливом движеньи взмывали по склонам;
Взмывали и реяли, не досягая
        До белого рая,

До правды Грааля.
Где рыцари в мантиях белых сверкали
Мечами духовными — вкруг средоточья
Великого Света
Над дольнею ночью.

Южнее —
Золотом, пурпуром, чернью,
Переливался и трепетал, как солнце вечернее
Над горизонтом истории рея,
Храм Византии.
Священный портал был открыт,
И свет несказанный
Лился оттуда. Далекой осанной
Гремели глубины,
Как если бы сонм Златоустов
Колена склонял пред явившимся им Назареем.

Пространство же до Ледовитых морей
Было пусто.
Только прозрачные пряди и космы
Там пролетали, разводины кроя:
То стихиали баюкали космос
Телесного слоя —
Над порожьями, реками,
Над речными излуками,
Над таежными звуками...

Так начался Ее спуск.

Глубже и глубже вникала, входила
В дикое лоно.
Диких озер голубое кадило
Мягко дымилось туманом... По склонам
Духи Вайиты на крыльях тяжелых,
В мареве взмахивая, пролетали...
Ложе баюкали Ей стихиали
В поймах и долах.

Полночью пенились па́зори в тучах,
В тучах над тихою, хвойною хмарью...
Хвойною хмарью, пустынною гарью
Пахло на кручах.
Бед неминучих
Запах — полыны!.. На лесных поворотах

Дятлы стучали... Ветры качали
Аир на дремных болотах.

Ложе баюкали Ей стихиали:
Духи Вайиты, что теплым дыханьем
Землю целуя, уносятся в дали;
Духи Фальторы,— благоуханьем
Луга цветущего; духи Лиурны —
Дивного мира, где льются безбурно
Души младенческих рек.
Духи Нивенны — в блаженном весельи
Зимами кроя Ее новоселье
В снег... в снег... в снег...

И, проницая их собственной плотью
И на закатах, и утренней ранью,
Навна
журчащей их делала тканью:
Ризой своей и милотью.

* * *

А названья — не русские,
Узкие, странные —
В запредельные страны
Музыкой уводящие звуки.
Ведь наших горячих наречий излу́ки
Впадают в небесном Синклите Мира,
Где ни народностей нет, ни рас,
В общий духовный язык человечества —
В будущее Единство,
Отечество,—
И языку тому темная лира
Только откликнулась в этот час.

* * *

Грубою жизнью, грузной и косной,
Глухо ворочалась дикая Русь.
В эти лохматые, мутные космы
Даже наитьем едва проберусь:
Слишком начально...
Трудны, печальны
Игрища первонародного космоса...
Предкам, быть может,— хмель повенчальный,
Нам же в том яростном зрелище — грусть.

Распрь и усобиц размах половодный.
Сердцу — ни радуги... ни гонца...
Страшная власть Афродиты Народной
Мощно сближала тела и сердца.
Рог рокотал, и неистовство браков
Утро сменяло неистовством битв,
Не просветив первородного мрака
Хищных разгулов и хищных ловитв.

* * *

Руку поднимет и опростает
Лютая Ольга — и вот к врагу
В небе летящих мстителей стая
Огненную прочертит дугу.

Но затоскует и шевельнется
Собственному деянью укор,
Будто в кромешную глубь колодца
Чей-то опустится синий взор.

И затоскуют о непостижимом,
Непримиримом с властью ума,
Из Цареграда ладанным дымом
Тихо струящимся в хаты, в дома.

Внятною станет Нагорная заповедь,
Луч Галилеи, тихий Фавор,
Если годами с душевной заводи
Навна не сводит лазурный взор.

И, шелестя от души к душе,
Серою цаплей в речном камыше,
Ласточкой быстрой, лебедью вольной,
Легкою искрой, сладко и больно
Перелетит,
перекинется,
Грустью певучей прикинется,
Жаждой любви означится,
Жаждой веры заплачется,
Жаждой правды проявится
Сказочная красавица.

* * *

Так, облачком на кручах Киева
Чуть-чуть белевшая вначале,

В прозрачной утренней печали
Росу творящую тая́,
Из дум народа, из тоски его
Она свой облик очертила,
Она мерцала и светила
Над тысячью минутных «я».

И стали нежною духовностью
Лучиться луг, поляны, ели,
Запели длинные свирели
Прозрачной трелью заревой,
А за полночною безмолвностью,
В любви, влюбленным открывалась
Та глубь добра, тепло и жалость,
В чем каждый слышал голос свой.

Он слышал свой, а все в гармонию
Она влекла, согласовала,
Она мерцала, волхвовала
И в каждом холила мечту,
И в Муроме прошла Феврония,
В Путивле пела Ярославна,
И Василиса в мгле дубравной
Искала ночью мудрость ту.

Искала ночью — все искала...
        Озера и скалы
Воочью ей делали знаки. Двуречьем,
Окою и Волгой, бродила, искала,
Леса говорили ей, небо сверкало
        Звездным наречьем.

Там шелестела над виром лоза,
Навна глядела мирно в глаза,
И каждый прохожий становился добрей
У небесных подножий — у лесов и полей.

Семенили детишки в лес по грибы,
Забирались от мишки на ель, на дубы,
И, беспокоясь о ближних, о детях,
Слышала совесть: «Ласкай и приветь их!»

        В избах и клетях
Стала любовь несказанна.

И ни осанна
Строгих стихир византийских,
Ни умудренный в витийствах
Разум церковный
Не находил ей словесной оправы.
Так шелестят бестелесно и ровно
Вешние травы.

Этою музыкой невыразимой
Все облекалось: лето и зимы,
Дни многодетной усадьбы,
Смерти и свадьбы,
Слово об Игоревом походе,
Сорокоусты притворов замгленных
И на туманном весеннем восходе
Песни влюбленных.

* * *

Навна вложила в горсть Яросвету
Пригоршню белых кристаллов.
И на пажитях талых,
На крутогорьях они засверкали —
Искры Завета,
Мощной рукою то ближе, то дале
Властно рассеяны...
Белые кубы́,
Гранью блистая, сосудами света
Гребни холмов увенчали.

И было вначале:
Пестрые крины смеющимся цветом
И колокольни, как райского дуба
Ствол величавый,
Их довершили.
Их окружили
Зубцы и забрала,
И над родными разливами
Встали кремли, города, городища,
Монастыри...

Князья и цари,
Схимники, смерды, гости и нищие
Видели, как на Руси разгоралось
Зарево странной зари.

И повторялось,
Удесятерялось,
Снова и снова
От Камы до Пскова
Над половодьем бесчисленных рек
То отраженье Кремля Неземного
В бут,—
в плоть,—
в век.

* * *

Но громоздит державный демон
Свой грузный строй,
И моет Днепр, и лижет Неман
Его устой.
Мечта могущества ярится
В его очах.
Уже тесна Москва-царица,
Он в ней зачах.
От дня ко дню самодержавней,
Он — бич, палач...

О, русский стих! О пленной Навне
Тоскуй и плачь!

Плотными глыбами замуровал он
Сад Ее нежный внутри цитадели.
В крытых проходах вырыл провалы;
Чадные щели
Омраками дурманили разум,
Вкрадчивым газом
Едко дымясь.

В чем обнаружишь высокую связь
С духом Ее — наших предков?
Вчитываешься в былые сказанья,
Вслушиваешься в монотонное пенье,
Вглядываешься в иконы и зданья,
В иноческие виденья —
Строгих и резких крыльев и ликов скупое убранство,
Ровное золото райских пространств,
Византийского Храма очерк великий — а дальше
Грозно сквозит
трансмиф христианства
В сумрачных фресках.

Вглубь, в стопудовую удаль былин
Мысль низведешь — и замедлишь на спуске:
Только бродяги пустынных равнин
Ухают там — богатырски, по-русски.

Сита и Радха, Гудруна и Фрэя,
Руфь, Антигона, Эсфирь, Галатея —
Где же их русские сестры?
Где Джиоконда? Где Маргарита?..

Нету ответа.
Грубые плиты,
Хищные, пышные ростры.

И с триумфальных ворот Петербурга
Цоком копыт и подъятой трубой
Трубит гонец — не про власть демиурга,
Но про великодержавный разбой.

Глухо.

Лишь недомолвками, еле-еле,
Глянет порой из глубин цитадели
Отблеск вышнего духа:

Женственной жалости.
Женственной прелести.
Женственной милости.

* * *

И демиург ударил в ярости
Жезлом по камню цитадели.
Эфирный камень дрогнул... В щели
Прорвался плещущий родник,
И стала звонкая струя расти,
Рыдая тысячью мелодий,
И чуткий слух внизу, в народе,
К ее журчащей влаге ник.

Текли меж белыми колоннами,
По тихим паркам и гостиным,
По антресолям паутинным
Ручьи романсов и сонат,
И в театральных залах — звонами
Гармоний, миру незнакомых,

В лицо пахнул, как цвет черемух,
Сам потаенный Русский Сад.

Неизъяснимые свечения
Над струнным ладом засквозили.
Затрепетав, их отразили
И ритм стихов, и красок гладь,
Как будто к нам из заключения
В час мимолетный, в миг кристальный
Могла отныне взор печальный
Душа народная послать.

Где над Невою дремлют строгие
Владыки царственного Нила,
Богиня русская склонила
Глаза крылатые к Неве —
И встали месяцы двурогие,
И, овеваем мглой воздушной,
Прислушивался бледный Пушкин
К хрустальным звукам в синеве.

Там, за дворцовыми аллеями —
Фонтанов звонкая глиссада,
А дальше — мгла глухого сада,
Где даже оклик музы тих,
Где нисходил и тек, лелеемый
Всей лаской пушкинских мечтаний,
Нерукотворный образ Тани,
Чтоб веять в ямбах колдовских.

И образ девственный за образом,
Все полновластнее, все выше,
Как изваянья в темной нише,
Светлели в замыслах творцов,
Но в провозвестьях слова доброго
Еще не вняли вести главной:
Что горек плен пресветлой Навны,
Сад — замурован, рок — свинцов.

* * *

— Друг мой! Жених мой! Вспомни былое:
Родину демиургов благую,
Как мы спускались вот к этому слою
В пустошь нагую.
Друг мой, жених мой!.. Ветер геенны

Треплет одежду мою, разрывая,
Клочья уносит — слоями вселенной
С края до края...
Друг мой! Жених мой! Знаю: в бою ты
С темным хранителем, с лютым титаном,
Лишь согревает мирным приютом
Сердце мечта нам.
Жданная всем человечеством снидет
К нашему браку с солнечных сводов;
Дочь нерожденную нашу сновидят
Души народов.
Видишь — я в людях гонцов обретаю,
Шлю вдохновенья им полночью тихой,
Вею над судьбами, в душах витаю...
Свет мой! Жених мой! —

И замирает голос звенящий
В море далеком, в нехоженой чаще,
Те ж, кто доносят отзвуки людям,
Молча клянутся:— Верными будем!

Шумную славу, мишурные лавры
Этим гонцам раздавала не Ты,—
Чтó Тебе — дребезжанье в литавры
Ложно-торжественной суеты?

Но и творцам, и безвестным героям
Вход раскрывая в светлицу Твою,
Всех, кто стремится, кто любит и строит,
Ты облекаешь в посмертном краю.
Ты облекаешь — лазурью просторной,
Сердцем Твоим, о благая,— Тобой,—
Ты, что веками Душою Соборной
Стала для русской земли снеговой!

Не триумфальная песнь, не баллада —
Мирный акафист излиться готов
Нежной Садовнице русского сада,
Светлой виновнице светлых стихов.

В каждом наитии, в каждом искусстве
Этой ночной, этой снежной страны
Только заря Твоих дальних предчувствий
Чуть золотит наши скорбные сны.

И над Февронией, кроткою Соней,
Лизою, Марфой, Наташей,— везде
Льется хрусталь Твоих дивных гармоний
И серебрится, как луч на воде.

Но еще застят громоздкие глыбы
Твой заколдованный сад, и во тьму
Лики тех звезд, что родиться могли бы,
Гаснут, не зримы еще никому.

В небе России, в лазури бездонной
Ждут зарождающиеся миры,
И ни Тимуры, ни Ассаргадоны
Не загасят их лучистой игры.

О, наступающий век! Упованье
Гимны за гимнами шлет на уста,—
Многолучистых светил рассветанье!
Всечеловеческих братств полнота!

* * *

Нет, еще не в праздничных огнях, не в храме —
Ночью,
 сквозь железный переплет, в тюрьме,
Легкими, бесшумными, скользящими шагами
Близишь Ты воздушный свой полет ко мне.

Тихо озаряется душа, как келья,
Свет благоухающий пахнул, как сад,
Тихое, нездешнее, звенящее веселье
Льется,
 драгоценнейшее всех наград.

О, Ты не потребуешь коленопреклоненья,
К сонному наклонишься сквозь дрожь ресниц
Радужно-светящимся миром откровенья,
Райским колыханием ветвей и птиц.

Сердце мое вызволишь из немощи и горя,
В сумрачных чистилищах возьмешь со дна,—
Нежная как девочка,
 лучистая как зори,
Взором необъемлемая, как страна.

1955 Владимир

СВЯТОРУССКИЕ ДУХИ

О ПОЛУЗАБЫТЫХ

Народная память хранит едва
Деяния и слова
Тех, кто ни почестей, ни торжества
Не пожинал искони;
Громом их доблести не сотрясен
Сумрачный строй времен;
Дальним потомкам своих имен
Не завещали они.

Есть безымянность крупин песка,
Винтиков у станка,
Безликость капель, что мчит река
Плещущего бытия;
Их — миллиарды, и в монолит
Всякий с другим слит;
Этому множеству пусть кадит
Гимны — другой, не я.

Но есть безымянность иных: свинцов
Удел безвестных борцов,
Вседневных подвижников и творцов
Деятельной любви.
Встань перед ними, воин-поэт,
Славою мира одет,
Перечень звучных своих побед
Надвое разорви.

Эти — прошли в города и в поля,
Со множеством жизнь деля:
Врачи, священники, учителя,
Хозяйки у очагов;
И, лязгая, сдвиги эр не сотрут
Их благодатный труд,

Ни тирании, ни демоны смут,
Ни ложь друзей и врагов.

Они умирали — не знаю где:
В дому или на борозде,
В покое ли старости или в труде,—
Но слой бытия сквозь слой
Им разверзал в высоте миров
Всю щедрость своих даров,
И каждый включался в белый покров
Над горестною страной.

Пусть мир не воздаст ни легендой им,
Ни памятником гробовым,
Но *радость нечаянную* — живым
Они бесшумно несут;
Они проникают в наш плотный быт —
Он ясен им и открыт,—
Их теплым участьем одет и омыт
Круг горьких наших минут.

Никто не умеет их путь стеречь,
Никто не затеплит свеч,
Никто не готовит богатых встреч,
Никто не скажет «спаси»,
Но жаль, что туманная старина
Укрыла их имена,
Когда-то в промчавшиеся времена
Звучавшие на Руси.

1951

РОДОМЫСЛЫ

1

А в мутно-дымном зеркале истории
Мятутся, реют, мчатся ночь и день,
Как тени туч на диком плоскогории:
Гигантов тень.

И на великих перекатах времени
Встает один,
Встает другой — вождь среди бурной темени
И жадных льдин.

Какой они безмерной мощью движимы —
Видь! обнаружь!
Нет слепоты, когда коснемся ближе мы
Их жгучих душ!

Бразды владычества лишь им поручены,
И судно царств
Они проводят через все излучины
Любых мытарств.

О, не тираны, не завоеватели!..
Отцы стране.
Их «я» — не здесь: в Кремле ли? в Монсальвате ли?
Там! в вышине!

Не для себя и не собою правимы,
Они — рука
Таких, как Ты! И чествовать их вправе мы
Во все века.

Парча ль на них иль грубые отрепья там —
Во всем Твой смысл,
И про такого говорим мы с трепетом:
Вот *родомысл*.

2

Красное Солнышко. Разве другое
Знаем мы прозвище в пестром былом
Чье-нибудь — столь же простое, живое,
Теплое,
        точно касанье крылом?

Если б не знать ничего о деяньях
Князя Владимира, только смысл
Прозвища в простонародных сказаньях —
Мы б догадались:
                        вот родомысл.

Если б о Невском герое суровом
Русь не хранила ни дат, ни числ,
Лишь о рыданье народа над гробом —
Было бы ясно:
                    вот родомысл.

Разум робеет от явного взмаха
Крыльев архангельских у шатра
Князя Олега иль Мономаха,
Минина,
        Донского,
                    Петра.

Дар родомысла страшен и светел:
Горе тому, кто принял его,
Не обратив свою самость в пепел
И в ратоборца —
                    все существо.

Радость любви и до́ма — закрыта.
Радость покоя — запрещена.
Все, чем Народная Афродита
Манит и греет,—
                    грех. Вина.

Разум — без сна на башне дозорной.
В сторону шаг — срыв и позор.
Лишь на одно устремлен
                            упорный,
Нечеловечески зоркий взор.

Много имен, занесенных в свиток,
Мало — не вычеркнутых до конца.
Это — ярчайшие звезды Синклита,
Духи таинственного венца.

1955

ГИБЕЛЬ ГРОЗНОГО

Поэма

ПРОЛОГ
ПОСМЕРТЬЕ ИОАННА III

Гроб выстеливается пурпуровым аксамитом —
Почесть царская отходящему к небеси,
И в грядущее вычеканивается по плитам:
«Князь великий и самодержец всея Руси».

Гул восстания усыпальницу не расколет,
Не расскажет об изнасилованной земле,
Только рокоты святоотеческих колоколен
Будут медленно перекатываться в Кремле.

Но дотеплятся по соборам сорокоусты,
Дорыдают заупокойные голоса,
И разверзнутся — всеохватывающе и тускло —
Дали рыжие и чугунные небеса.

И встает он — и непомерный, и непохожий,
Кровью царствования вскормленный исполин,
Заложивший неколебимейшее из подножий
Темным демонам приближающихся годин.

Он другую, еще невидимую нам глыбу
Поднимает на богатырские рамена,
Он несет ее к уготованному изгибу
Мощной крепости, что под Русью возведена.

И он видит в нечеловеческие зерцала,
Из страдалища в нашу русскую вышину:
Вот гигантское овеществление замерцало,
Покрывающее родительскую страну.

И усилием тысячеруким, тысячеглавым
В человечестве, содрогнувшемся от грозы,
Камни медленно созидающейся державы
Опускаются в предназначенные пазы.

1950

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ПОДМЕНА

1

Помнит Русь века многометельные,
Но ветрами бедствий, зол и вин
К ней вторгались бури запредельные
Так открыто — только сквозь один.
В веке том нет ясного луча,
Дым пожаров небо заволок,
И — смотри: двоится, трепеща,
Летописный выкованный слог.

2

Чуть свернешь, покинув тропы торные,
К откровенью Смуты — и на миг
Будто злое зелье наговорное
Обожжет из кубка древних книг.
Кто чертил, тоскуя и крестясь,
Этих строгих строк полуустав
И зачем таинственная вязь
Замолкает, не дорассказав?

3

Не узнаешь о смиренном имени,
Не найдешь следов в календаре,
Только вспомнишь стих о вещем Пимене
В хмуром Чудовом монастыре.
И пройдут, личинами разрух
Кровь потомков в жилах леденя,
Силы те, что опаляли дух
Языками адского огня.

4

Не застыл для нас громадой бронзовой,
Не предстал, как памятник добра,
Этот век — от Иоанна Грозного
И до Аввакумова костра.
Но досель Россия только раз
Взор во взор вперяла, задрожав,
Духам тем, что движут судьбы рас,
Взлет культур и мерный ход держав.

5

Где начало? Сможем ли прозреть его
В заунывных песнях нищеты?
В орлей думе Иоанна Третьего?
В скопидомстве зорком Калиты?
Нет начала! Только тяжкий ход,
Вязких троп ухабистый сувой,
Только медленный, из рода в род,
Крестный путь к задаче мировой:

6

Раздвигать границ заслоны ржавые
На Урал, на Каспий, на Югру,
Бросить жизни великодержавию,
Как швыряют с маху зернь в игру;
Покорить для будущих забав
Лесовую ширь материка,
Где пока — лишь шум поёмных трав
Да медвежья поступь казака.

7

Белый Дух, что ради света Отчего
Нас творил веками с высоты —

В ком он, где? Черты другого зодчего
Проступали сквозь его черты.
Не предстательствуя, не целя́,
Заглушая истинную весть,
Хмурил он крутую бровь Кремля
И лелеял только то, что *есть*.

8

То, что есть — и то, что до Помория
Прошумело словом «Третий Рим»,
Для чего под вьюгами истории
И поднесь таинственно горим.
Но слилась в надменном слове том
Искони́ в нас дремлющая цель
С сатанинской ложью о благом
Самодержце градов и земель.

9

Пусть мыслитель, из столетий будущих
Обернувшись, глянет на Москву —
Третий Рим в парче, в охабнях, в рубищах,
С дымной мглой видений наяву,
И наукой, незнакомой нам,
Мир былой разъемлет на слои,
Прочертив по древним временам
Магистрали новые свои.

10

Обоймет строительство вседневное,
Бурных будней пенный океан —
От светлиц с светланами-царевнами
До степей, где свищет ятаган.
Уяснит наш медленный рассвет
И укажет, в ком и отчего

Сквозь народ наш волил Яросвет,
В ком и как — соперники его.

11

Он укажет потайные признаки
Этих воль — в делах и в словесех,
В буре чувств, умчавшейся как призраки,
Но когда-то явственной для всех.
Он научит видеть сквозь клубы
Исторического бытия
Гнев чудовищ, ставших на дыбы,
И премудрость ангельского Я.

12

Но метаться средь горящих образов
Осужден художник и поэт:
Нет стиху в сердцах отзы́ва доброго,
Если он пожаром не согрет,
Если воля мастера-творца
Власти образов не вручена,
Если утлый разум гордеца
Исчерпать их силится до дна.

13

Тщетно пробует фантасмагорию
Он вместить в трехмерно сжатый стих,
Ропот волн в морях метаистории
Отразить бряцаньем строк своих.
В бурю света ввергнут и слепим,
Он немеет перед мощью той,
И бушуют образы над ним,
Над его словесною тщетой.

14

Предаю мой стих обуреваемый
Вашей чудной воле до конца;
Трепеща, рассудок омываю мой
В вихре золота и багреца.
Отрекаюсь — ваш безмерный сонм
Низводить в размеренный чертеж,
Вы, о ком клокочущий мой сон
Ни в каких сказаньях не прочтешь!

15

Иль не верю вам? ищу награду ли?..
О, любых блужданий боль и тьму
Ради мига вашей райской радуги,
Как тяготы и́скуса, приму!
Уже сердце испепелено
В черный уголь пламенем судьбы,
И достойным сделалось оно
Для священной вашей ворожбы.

16

Вот спускаюсь, через грусть кромешную,
Вглубь, по творческому ведовству,
В многострастную, и многогрешную,
И юродствующую Москву.
И мерцают, светятся в стихе
Очи прадедов за вечной тьмой —
Жизнь тех душ в метаньи и в грехе,—
Незапамятнейший опыт мой.

17

Зла, как волк, над градом ночь безлунная.
По дворам — собачьих свор галдеж.

Эка тьма! Везде болты чугунные
И от дома к дому не пройдешь.
По Кремлю, где лужи невпролаз,
Как слепые бродят сторожа,
И заклятьем кажется их глас
Против мрака,— бунта,— грабежа.

18

Круговой повтор моленья ровного —
Помощь силам, скрытым в естестве:
— ...Сна безбурного... и безгреховного...
Молим Спаса... матушке Москве...—
От застав, лучами, по стране,
В чернотроп, в чаробы, в пустыри
Гаснет голос о безгрешном сне
Костроме... Воронежу... Твери...

19

Ночь в исходе. Колокол к заутрене
Забренчал у Спаса-на-Бору.
Во дворце — застойный сумрак внутренний,
Свечи... вздохи... шорох по ковру.
Ветер. Ширь. На глыбах серых льдин
Чуть заметный отсвет багреца...
А уж он спускается один
Ступенями Красного крыльца.

20

Хмурый отрок. Взор волчонка. Зарево
Из-под стрешен стрельчатого лба.
Именуют пышно «Государь» его,
А на деле травят, как раба.
И никто не хочет знать, что он
Будет Божьим пастырем Руси,

Что над ним таинственно зажжен
Чей-то взор, как Веспер в небеси!

21

С детских лет — язвящий зов владычества,
Сжатых чувств шипы и острия;
Жгучий сплав варяжского язычества
С византийской верой: Бог — и Я.
Эта вера тверже всех кремней.
Эта мысль остра, как лезвее.
В лихолетье отроческих дней
Он точил над книгами ее.

22

Шаг еще — и за речной излукою,
Сине-алым маревом замглен,
Спящий мир шатров, шеломов, луковиц
Тихо встал на красный небосклон.
Это место он любил всегда.
Здесь так ласков ветер к голове,
И — любовь ли, нежность, теплота,
То ли злоба знойная к Москве?..

23

Встал. Глядит. А уж вдали, по сло́бодам,
Залились хвалой колокола,
Окоем поплыл гудящим ободом,
Купола плывут на купола,
Голоса сливаются над ним
От застав, монастырей, звонниц;
Ни один из них не различим
В этой стае медногласых птиц.

24

Будто мерным взмахом глыбы золота
В горнах неба ангелы куют,
И, от глыб отторгнуты, отколоты,
Волны звуков мчатся и поют,
В каждый терем, в каждую корчму,
Сквозь зубцы несутся напролом —
То ему, ему, ему, ему
Указующий судьбу псалом!

25

Да, он знает, помнит до рождения,
Этих дум ни с кем не разделя,
Солнце Мира в мощном прохождении
Над венцом Небесного Кремля.
Он — оттуда! Он — один из тех,
Кто играл там мальчиком в саду,
Слыша в кущах серебристый смех,
И о нем тоскует, как в бреду!

26

Тех святынь заоблачное зодчество —
Первообраз башням и церквам;
Русским душам грезятся пророчества
О пресветлых праведниках там.
Некто грозный, как небесный свод,
Вскинув длань с трикирием светил,
На схожденье вниз, в круговорот
Дольних бурь, его благословил.

27

О, попы ли темные, бояре ли
Смеют знать, какие словеса

В его дух, как молния, ударили,
А затем целили, как роса?!
Что поймут они перед лицом
Сына неба, если с вышины
Он сошел — стать пастырем, отцом,
Святодержцем утренней страны?

28

Он научит! Письмена небесные
Впишет он в кромешные сердца!
Он поднимет сонмы душ безвестные
До сиянья Отчего лица!
Он любовь, смиренье, лепоту,
Божью правду водворит везде,
Чтоб весь мир взирал на землю ту,
Светлотой подобную звезде!..

29

Звон умолк. Уже ливанским ладаном,
Плавным пеньем дышат алтари;
Замерцали в цатах над окладами
Изумруды, лалы, янтари.
И плывет широкое «Аминь»,
Омывая медленной волной
Всенароднейшую из святынь —
Белый храм над юною Москвой.

30

Мимо нищих, никнущих на паперти,
Он идет, как кесарь, не спеша.
Там безбурным взором Богоматери
Да омоется его душа!
Встал на клирос, жестом строг и скуп,
Только судорогой бровь свело

Да кривится прорезь жарких губ,
Как в падучей: больно и светло.

31

Да, так было. Пусть в угрюмых хрониках
Речь о том невнятна и глуха.
Друг, в дорогу! Осторожно тронем-ка
Ток столетий чашею стиха,
Зачерпнем духовную струю —
Скрытый бред той царственной души,
И наполним ею медь мою —
Этих строф тяжелые ковши.

32

Пусть не знает зоркая история
Тайн глубинных страшного царя:
Понял их во внутреннем притворе я,
С многокрылым Гостем говоря.
Я прочел, как вплавились они
В цепь народных гроз и катастроф,—
В те, безумьем ме́ченные, дни
Столкновенья сорока миров.

33

Эту зрелость я обрел в огне мою,
Эта память грозная свежа,
Лишь об этом скорбною поэмою
Повествую, плача и дрожа.
Не суди ж за странную тоску,
За тугой, за медленный язык:
Больно, друг, глядеть в глаза клинку
Мчащихся, как ураган, владык!

34

Созерцать, как длилось их внедрение
В тех, кем славен северный престол,
В их сердца, в их разум, слух и зрение,
В их деянья, в смену благ и зол;
Как вослед высокому творцу
Утаив и цель свою, и лик,
Проникал в них и спешил к венцу
Провиденья недруг и двойник.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ОТСТУПНИЧЕСТВО

1

Век вздымался. Истовым усердием
Воздвигался властный Домострой,
Увенчав стяжанье милосердием,
А суровство — пышной лепотой.
Вникни, стих мой, в этот грузный труд,
С беспристрастной четкостью впиши,
Как ковал Ковач тугой сосуд
Для народной веющей души.

2

Не размыла плещущая Азия,
Не затмила гордая латынь
Блеск, державность и благообразие
Этих душных, варварских святынь.
Чтоб, меж изб, сияли с высоты
Куполов златые пламена,
Как блестят нательные кресты
Сквозь прорехи нищего рядна.

3

Благостройных служб великолепие
К солнцу Тройцы поднимало взор,

Так любивший плыть по дикостепию
И по глади дремлющих озер.
У кого ж казацкая душа,
Кто с падорой вольной обручен —
Правь струги по волнам Иртыша!
Шли царю ясак свой да поклон!

4

Оцепляй надежной оторочиной,
Тыном злых острогов обнеси
Тех, кто был великокняжьей вотчиной,
Кто подпал царю всея Руси.
Чтоб не дрогнул богоносный град
Под ветрами чужеверных стран;
Чтоб, распахивая створы врат,
Не ворвался свищущий буран!

5

Век вздымался. Уж десница ханская
Меч былой не вырвет из ножон:
Боевой страдою астраханскою
Всенародный подвиг завершен.
Соль победы — горше всех солей;
Благо мощи — горше злого зла...
И по жилам царства тяжелей
Кровь насыщенная потекла.

6

Уже тесно в праведности, в древности,
В духоте бревенчатых твердынь;
Просит жертв Молох великой ревности,
Лишь себе глаголющий «аминь».
Сталью скреп бряцая вперебой,
Скрежеща от взмахов и рывков,

Тяжко двинулась сама собой
Глыба царства колеей веков.

7

Кремль притих. Чуть плещется вполголоса
Говор шней, юродов да старух,
Ропот смутный босоты да голости,—
По Руси шатающийся дух.
Всё о том, что будто бы Москва
Брошена ветрам на произвол,
Обескровлена, полужива
От боярских козней да крамол.

8

Вероломства их и лжепокорности
Не стерпел кротчайший из царей:
Трон и град он бросил ради горницы
В самом верном из монастырей.
Он, чьей славой свергнута Казань!
Он, чья ласка для Руси — как мед!
Он, о ком народная сказань
До суда Христова не замрет!..

9

Шевелись, Москва тысячерукая,
На боярство ненависть ощерь:
Царь Иван единой был порукою,
Что в геенну сброшен ярый зверь —
Зверь усобиц, что из рода в род
Открывал врата для татарвы,
Злая Велга, смрадом чьим несет
С преисподней сквозь земные рвы!

10

И смятенье, горшее чем ненависть,
По боярским крадется дворам,
Все шепча, что тайная отмена есть
Плах и дыб — всем татям и ворам.
Ох и встанут — хуже всех татар!
Уж и хлынут — с нор да с кабаков!
Шевельнут побоище-пожар,
Небывалый от века веков!

11

Вверх и вниз в колдобах переваливая,
Колымаги тронулись вдогон:
Беглеца, покорствуя, умаливать,
Возвращать строптивого на трон.
И вступают, ненависть тая́,
Под нахмурье монастырских плит
Думные бояре да князья,
А с князьями — сам митрополит.

12

Но принять послушных не торопится
В золотой моленной Иоанн.
Жарко печь узорчатая топится,
За окном — промозглость да туман,
И покалывающая дрожь
Все до внутренностей леденит,
И не греет, с цветом плахи схож,
Тускло-красный, мягкий аксамит.

13

Скоро месяц — стужей, огневицею
Кто-то мучит исподволь его,—

Неочерченное, смутнолицее,
Необъемлемое существо.
Жжет как жало, рыскает как рысь,
Бьет как билом, вздыбливает сны
И доводит яростную мысль
До конца духовной крутизны,

14

Странно, да,— но это — тот, кто в юности
Как архангел пестовал царя,
Алконостами да гамаюнами
Дни боярских козней озаря;
Кто в деяньях милостыней цвел,
Кто шептал о святости в тиши,
Кто любовь Анастасии ввел,
Как весну, в снега его души.

15

Чуть взглянул тогда он в очи нежные —
Дух взыграл, шепча уму: она! —
Вспомнил небо, храмы белоснежные,
Мир иной, иные времена,
Ее смех в серебряных садах
И того — с трикирием светил —
Кто на жизнь вот здесь, в глухих мирах,
Так сурово их благословил.

16

Плоть и мысль обóживая заживо
В думах, бранях, подвигах, посте,
Сквозь глаза кристальные Адашева
Он порою видел дали те.
Но когда в казанскую мечеть
Православье ринулось сквозь брешь,

Этот дух под жесткий лязг мечей
В сердце русских взвыл, как демон:— Режь!

17

Он уму предстал двуликим Янусом.
Он твердил — то «строй!», то — «сокруши!».
Он с неистовствами окаянными
Слить научит свет и честь души.
Он любую пропасть, кручу, дно
Осенит двоящимся крестом...
Нет, не «он» — могучее *оно*
В том глаголе и в наитьи том!

18

Иль, быть может, двух взаимоборющих,
Двух, сплетенных скорбною судьбой,
Ни в церквах, ни в пиршественных сборищах
Не сумел понять он над собой?
Оба вместе — властны, как судья,
Неумолчны, как веретено...
И он гасит крошечное «я»
В роковом, в чудовищном «оно».

19

А оно, вращаясь и безумствуя,
Багровеет, пухнет до небес;
Сам Давид не знал бы, многодумствуя,
Кто в сем вихре — ангел или бес?
Только ясно, что его предел —
Грани царства именем МОСКВА,
Что он жаждет богатырских дел,
Расширенья, мощи, торжества!

20

Ну, так что ж? Да будет так! Урманные
На́ закат, на север, на восток
Ждут леса и дебри басурманные,
Чтоб Господь их Русью обволок.
Уж Литва смиряет буйный стан,
С башен сбиты ляшские гербы,
И отпрянул конь магометан
Перед Русью, вставшей на дыбы.

21

Только здесь, в пределах царства отчего,
Что ни шаг — то лжец и лицедей;
Алчут рушить светлый замысл зодчего
Ради мерзкой самости своей!
Он теперь их бросил. Он сердца
Тьмой свободы насмерть ужаснул.
Пусть народ постигнет до конца:
С кем — Господь, а с кем — Веельзевул!

22

Только б дали воротиться... Плевелы
Истребит вконец он на корню;
Всю крамолу Рюрикова племени
Он предаст застенку и огню.
Он боярство сделает травой,
Что горит без ропота, без слов...
А, пришли с повинной головой?
Он готов. Пусть внидут! Он готов.

23

И они вступили — обреченные —
Умоляя, веря, лепеча,

Глядя снизу в очи омраченные
Вседержителя и палача.
Он ли то?.. Как желтые клещи,
Только пальцы ходят ходуном...
Так глядит на путника в ночи
Голый остов выжженных хором.

24

Господи! Чему же попустил еси
Довершиться в царском естестве?
Ранней вестью старческой остылости
Волос пал на острой голове,
И от желтых ястребиных глаз
Вниз легли две черных борозды,
Всему миру зримы напоказ
Сквозь охлопья жухлой бороды.

25

Лишь коричневатое свечение
Излучалось от пустынных черт...
Знать не мог столь жгучего мучения
Ни монах, ни ратники, ни смерд.
Что в нем? кто?.. Прокравшийся к нутру,
Что за недруг дух его томит?..
И невольно к красному ковру
Опустил глаза митрополит.

26

Вижу сам коричневую ауру,
Слышу там, в пластах земных годин,
Что окрепло царство Уицраора
И жирел над Русью он один.
Необъемлем мудростью людей,
Для очей плотских необозрим,

Воплощался он, как чародей,
В искажающийся Третий Рим.

27

Так избрал он жертвой и орудием,
Так внедрился в дух и мысль того,
Кто не нашим — вышним правосудием
Послан был в людское естество,—
Браздодержец русских мириад,
Их защитник, вождь и родомысл,
Направляющий подъем и спад
Великороссийских коромысл.

28

О, я знаю: похвалу историка
Не стяжает стих мой никогда.
Бред, мечта, фантастика, риторика —
Кто посмеет им ответить «да»?
Но таков своеобычный рок
Темнокрылых дум о старине,
Странных дум, седых, как пыль дорог,
Но принадлежащих только мне.

29

Пусть другие о столетьях канувших
Повествуют с мерной простотой
Или песней, трогающей зá душу,
Намекнут о жизни прожитой.
Я бы тоже пел о них, когда б
Не был с детства — весь, от глаз до рук —
Странной вести неподкупный раб,
Странной власти неизменный друг.

30

Мое знанье сказке уподоблено
И недоказуемо, как миф;
Что в веках случайно и раздроблено,
Слито здесь в один иероглиф.
Хочешь — верь, а хочешь — навсегда
Эту книгу жгучую отбрось,
Ибо в мир из пламени и льда,
Наклонясь, уводит ее ось.

31

Вот, злодейством лютым обезличена,
Невместима совестью земной,
Непробудной теменью опричнина
Заливает все передо мной.
И спускаюсь, медленно, как дух,
Казнь подглядывающий в аду,
Лестницею, узкою для двух,
В Александровскую слободу.

32

Не пугайся. Да и чем на свете я
Ужаснул бы тех, кому насквозь
Через мрак двадцатого столетия
Наяву влачиться довелось?
И задача книги разве та,
Чтоб кровавой памятью земли
Вновь и вновь смущалась чистота
Наших внуков в радостной дали?

33

Но он сам, ночами в голой келии
Не встававший до утра с колен,

Чтобы утром снидить в подземелие,
Где сам воздух проклят и растлен —
Он тревожил с детства мой досуг,
Ибо тайна, замкнутая в нем,—
Ключ от наших всероссийских мук,
Наших пыток стужей и огнем.

34

Вот он сходит, согнут в три погибели,
Но всевидящий, как сатана,
Уже зная: на углях, на дыбе ли,
На крюке ли жертва подана.
Ноздри вздрагивают. Влажный рот
Приоткрыт в томительной тоске,
И мельчайшей изморосью — пот
На устало вдавленном виске.

35

Скажешь — век? эпоха? нравы времени?
Но за десять медленных веков
Самой плотной, самой русской темени
Иоанн — единственный таков.
Ни борьба за прочность царских прав,
Ни державной думы торжество
Не поставят рокового «прав!»
На немых синодиках его.

36

Не падет на людобийства лютые
Дальний отсвет мощного ума.
Из-под глыбы, сдвинутой Малютою,
Только тьма клубится, только тьма.
Только тьма — а в ней растущий гул,
Присвист, посвист и победный клик,

Будто пленник сбросил и швырнул
Груз запретов, вер, цепей, вериг.

37

Сам мучитель, знаком уицраора
Отраженный в шифре этих строк,
Не облек бы столь всеобщим трауром
Русский север, запад и восток.
Что ему? Верховнейшая цель
Его жажды и могучих дел —
Расширять державу-цитадель
За черту, за грани, за предел.

38

Но все мало капищ и осанн ему,
Слишком мелки алые ручьи,
И алканью крови неустанному
Учит он вместилища свои.
То алканье — ключ от тайников,
Непроглядных, как подземный грот;
Это — хищный, неотступный зов
В каждом «я» таящихся пустот.

39

Нет, недаром вера дедов жаркая
Облекла в виденье опыт свой:
Как несутся, пóрская и каркая,
Кони-вороны по-над Москвой,
Точно Всадница, бледней чем смерть,
В маске черной, кажет вниз, на храм,
И бичом, крутящимся как смерч,
По Успенским хлещет куполам.

40

Сон ли? быль?.. Откуда ты, наездница?
Наважденье? óмрак? ведовство?
Ты, чей образ неотступно грезится
Летописцам времени того?
А внизу, в тиши своих хором,
Став как воск от гложащей тоски,
Множит царь опричным колдовством
Твоих буйных конниц двойники.

41

Оборвется в доме дело всякое,
Слов неспешных не договорят,
Если, черной сбруей мерно звякая,
Пролетит по улице отряд.
Врассыпную шурхнет детвора,
Затрясется нищий на углу,
И купец, за кипами добра
Словно тать, притихнет на полу.

42

В шуме торжищ, в разнобойном гомоне
Цвет сбегает с каждого лица,
Если цокнут вороные комони
По настилу ближнего крестца.
В кабаках замолкнет тарнабá,
В алтаре расплещется сосуд,
И в моленных княжеских — до лба
Крестный знак персты не донесут!

43

Вскочат с лавок, кто хмелел на празднике,
И с одра — кто в лихоманке чах,

Если, молча, слободою, всадники
Мчатся мимо в черных епанчах.
Прыть былую вспомнят старики,
Хром — костыль отбросит на бегу,
И у баб над росстанью реки
Перехватит дух на берегу.

44

В землях русских след нездешний выбили
Не подковы ль конницы твоей,
Велга! Велга! призрак! Дева Гибели!
Угасительница всех огней!
Разрушительница очагов!
Мгла промозглая трясин и луж!
Сыр-туман ямыг и бочагов
И анафематствованных душ!

45

Раздираем аспидами ярости,
Только кровью боль свою целя,
Приближается к пустынной старости
Черновластник смолкшего Кремля.
Вей метелью, мутно-белый день,
Ширь безлюдных гульбищ пороши,
Мчи в сугробья дальних деревень
Мерный звон за упокой души:

46

О повешенных и колесованных;
О живьем закопанных в земле;
О клещами рваных; замурованных;
О кипевших в огненной смоле.
За ребят безотчих и за вдов;
За дома, где нынче пустыри;

За без счета брошенных с мостов
В скорбном Новгороде и Твери.

47

Об отравленных и обезглавленных!
О затравленных на льду зверьем!
По острогам и скитам удавленных,
Муки чьи в акафистах поем.
И по ком сорокоустов нет —
Отстрадавшихся по всей Руси,—
Боже милостивый! Боже-Свет!
Имена их только Ты ве́си.

48

Но помины — разве заглушат они
Темный шорох шепчущихся толп?
Сваи царства пышного расшатаны
И подточен благолепный столп.
И давно уж над судьбой царя
Догорел нерукотворный свет:
Отблеск пурпура и янтаря
Снял с помазанника Яросвет.

49

А по избам, теремам, по девичьим,
В городки, в поля, в лесную крепь:
— Братья! страшно! Царь убил царевича!
Рвется, рвется Рюрикова цепь!..—
Рвется, да. И прямо в очи всем
Взглядывает всенародный Вий,
Недвижим, неумолим и нем —
Непреложный фатум тираний.

50

И уже над вестниками новыми
Уицраор трудится внизу,
Чтоб сумело царство с Годуновыми
Перемочь расплату и грозу.
И, уже никем не охранен,
Предоставлен року своему,
Скоро отрок углическим днем
Слабо вскрикнет в дальнем терему.

51

Друг мой! спутник! Режущими гранями
По стиху все ниже сходим мы.
Больно быть в мечте и в жизни странником
По кругам национальной тьмы!
Как устал я от подмен и зол
На российской сбивчивой тропе,
От усобиц, казней, тюрьм, крамол,
От безумных выкриков в толпе!

52

Удалиться б в радость песнопения
О просторах, брезжущих вдали,
О приходе праведного гения,
Светоносца, в ночь моей земли!
О любви; о расторженьи уз;
О скончаньи тираний и царств;
О планете, сплавленной в союз
Совершеннейших народоправств.

53

Над снегами горных стран Истории
Блещет пик — вершина новых дней:
Все, что было, все, что есть,— предгория

К выси той и к Солнцу солнц над ней.
Вижу срок, предызбранный уже,
Отдаленную его зарю,
И на предпоследнем рубеже
О взыскуемом заговорю.

54

Но не отрекусь от злого бремени
Этих спусков в лоно жгучих сил:
Только тот достоин утра времени,
Кто прошел сквозь ночь и победил;
Кто в своем бушующем краю
Срывы круч, пустыни пересек,
Ртом пылающим испив струю
Рек геенны — и небесных рек.

55

Может быть, столь пепелящим опытом
Не терзалась ни одна страна,
Гиком, голком, трубным ревом, топотом
Адских орд из века в век полна.
Горек долг наш — этот гул и вой
Претворять в гармонию, в псалом,
И не скоро отсвет заревой
Заблестит над сумрачным стихом.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ИТОГ

1

Зла, как волк, над градом ночь безлунная.
По дворам — собачьих свор галдеж.
Эка тьма!.. Везде болты чугунные
И от дома к дому не пройдешь.
По Кремлю, где лужи невпролаз,

Бродит стража, слушая тайком:
Льется клирный, многоскорбный глас
Из царевых холеных хором.

2

Черным хором иноков соборован,
Сам отныне в черном клобуке,
Удаляясь с каждым мигом, скоро он
Поплывет по огненной реке.
Он гниет. Он раньше смерти сгнил.
Все слилось в один открытый струп.
Он кричит. Он из последних сил
Свой приказ выталкивает с губ.

3

Всем церквам, монастырям, обителям —
Не приказ — предсмертная мольба:
Заступиться перед Искупителем
За него, смердящего раба!
Цок подков... звон сбруи... бубенцы...
От дворца ширяя на крестцы,
Мчатся вскачь, в галоп, во все концы
По дорогам царские гонцы.

4

И с суровостью, без величания,
Строго-чистым, древним языком
Молит Русь за душу — о скончании
Непостыдном, праведном, святом.
И, смиренно забывая гнев,
Зажигают в храмах огоньки
Тройце-Сергиево, Суходрев,
Туров, Галич, Муром, Соловки.

5

Нет. Бессильны дольние моления!
Не смягчить небесного Судью!
Все горчей метанье и томление
У преддверья к инобытию.
Цок подков... звон сбруи... бубенцы...
От дворца ширяя на крестцы,
Снова мчатся в дальние концы
Воли царской новые гонцы.

6

Зыбкой вестью, странною, несбыточной,
Будоражат вековую ночь:
— В каждой келье, в каждой башне пыточной
Крючья, смолу, дыбы, угли — прочь!
Если кто влачим на плаху — жизнь!
Тем, кто ждал суда напрасно — суд!
Пусть без жалоб, гнева, укоризн
За него моленья вознесут!..

7

Но огромна сумрачная родина,
Широка Россия, широка:
Половодья, поймы да разводины,
А над ними — только облака.
Переправы, судры, ледостав,
От свечи — пять суток до свечи...
Месяцами до иных застав
Передачей бешеной скачи!

8

Смерть не медлит. Чуть недужье зажило —
Внутрь, в утробу входит смерть огнем:

Треплет чрево, рвет, кусает заживо,
Разгрызает утром, ночью, днем.
Рот — как язва. Только из зениц —
Взор, как вопль:— Заступница! спаси!
Отпереть запоры всех темниц!
Волю узникам — по всей Руси!..

9

Но гонцы с подково-гулким топотом
Больше вдаль не ринутся впотьмах:
«Уж отходит...» — шелестит по слободам.
«Еле дышит...» — шепот в теремах.
«Вспомнил первую царицу... Ш-ш-ш!
Анастасьюшку зовет в бреду...»
И вступает молча в спальню тишь,
Своих прав дождавшись в череду.

10

Эта тишь сурова, как начальница,
И непрекословна, как затвор.
Сквозь нее Великая Печальница
Не опустит дивный омофор.
Лишь касанье чьей-то белизны
На мгновенье тишит жар в крови:
Это — руки молодой жены,
Это — отблеск молодой любви.

11

— Ты ли, ты, краса моя венчальная?
Мать Ванюши... помоги хоть ты!..—
Нет ответа. Лишь глаза печальные
С близкой-близкой, теплой высоты.
С ней предвечно был он обручен.
К ней склонялся, как в степи к ручью.

Это видел прежде всех времен
В незапамятной дали, в раю.

12

И тогда взошло воспоминание:
Град во славе... синие поля...
Солнце Мира в ясном надстоянии
Над венцом Небесного Кремля.
Лишь мгновенье. Он сходил во тьму,
К беспристрастно-четкому суду,
И душа открылась одному,
Одному: бездонному стыду.

13

В этот час десницею суровою
Сердце духа вынул Яросвет.
Оно вспыхивало, все багровое,
Как светильник, в коем масла нет.
Одному из солнечных сынов
Дал Судивший праздный факел тот,
Чтоб его зажечь навеки вновь
От верховного Огня высот.

14

И легла дорога искупления,
Вдаль и вдаль, по каменному льду,
В мглу немыслимого отдаления,
К миллионнолетнему труду.
Как постиг бы наш трехмерный ум
Этот путь развенчанных монад,
Тех морей чугунно-мертвый шум?
Тех светил лилово-черный взгляд?

15

Дух лежал, как труп. Но мерно длящийся
Суд вершился — и темнела ширь:
Кровь духовную — эфир струящийся —
Уицраор пил, как нетопырь.
И по жилам царства, в плотной мгле,
Потекла, мешаясь, злая кровь
С кровью тех, кто строил на земле
Это царство, и построит вновь.

16

И тогда над духом четвертуемым
Грозный суд свершился до конца:
К *телу духа* —к мозгу и ко рту ему —
Никла Велга — темень без лица.
А оно рвалось, как чешуя,
Распадалось на десятки «я»,
И помчалось, плача, вопия,
По нагой изнанке бытия.

17

Так раскрылась хлябь без отражения,
Где ни дна, ни заводей, ни вех...
Так вступили в праздное сражение
«Я» на «я» — и каждый против всех.
Но об этих горестных плодах
Ждет рожденья скорбный стих иной:
Он встает, метя золу и прах,
Он звенит, он свищет надо мной.

18

Не оденешь в эти строфы мерные
Из тугой, негнущейся парчи

Ветер *Смуты*, небо тускло-чермное,
В диком поле пьяные смерчи.
Ни вместят — ни величавый ямб,
Ни тяжелокованый хорей
Этот лютый, буйный дифирамб
Рек,— падор,— пожаров,— пустырей.

19

Взмой же с посвистами, улюлюкая,
Зазвени разгульной тарнабой,
Рваный стих мой — злой, как многорукая
Дева-Ночь над русскою судьбой!
Что впитал ты на крестцах дорог,
Чем рыдал и пенился мой край —
В разнозвучьях, в стыках шатких строк,
В разнобоях жалобных отдай!

20

Отдавай набат и звоны мирные,
Бражный гул в бездомной голытьбе,
Чернецов скорбение стихирное,—
Все, чем Русь шевелится в тебе!
А когда клокочущие струи я -
Всенародных бедствий перейду —
Поднимись, звуча как аллилуия,
Как молебен в праздничном саду.

Февраль 1951
Владимир

РУХ[1]

Симфония о великом Смутном времени

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Меж четырех морей — урманов хмурых море,
Забрала городов... Звонницы на юру...
Вдруг — розовая мгла от мальв на крутогоре,
И вновь дремучий лад болот и мхов в бору.

Меж шелестящих трав, в пологих, влажных долах,
Над кручами холмов, над тыном деревень
Разносит ветер на крылах тяжелых
Полдневную, медлительную лень.

Где принимал Перун дым жертв, костры и пенье,
Где месяц-ятаган червонел ввечеру,
Где половецких стрел цветные оперенья
Над грудью павшего дрожали на ветру —

Крутые крепости бугрятся в хмаре знойной,
Все чаще ест глаза трущоб сводимых дым,—
Отхлынул бранный шум татарских дней нестройных
И в пышных горницах тучнеет Третий Рим.

Притворов полумрак и усыпальниц слава,
Воителей, князей могущественный прах...
В тени монастырей, по благолепным лаврам
Прокимнов и стихир благоговейный страх.

Звон
мирный...
Звон
мерный...
Глас
клирный,
Час
первый,
Зык
мерный,
Зык
мощный,

---

[1] Рух — набат, тревога, вообще призыв к обороне в час народного бедствия *(старорусск.).— Примеч. авт.*

Зов
медный
К Всенóщной
Бесплотным гудящим столбом
В воздухе встал голубом.

Не о Милостивом, не о Прощающем, не о Царствующем на небеси,
Но о властвующем над народами все суровее,
О величественнейшем, христолюбивейшем, самодержавнейшем всея Руси
Перекатываются золотокованые славословия.

Ектинье́ высокоторжественной Многолетием вторит клир,
И возносятся над пятиглавиями да над палатами
Лишь моления о великодержавии, обнимающем целый мир,
О победах и о ликовании над супостатами.

И звон пурпурный,
Гулко-серебряный,
В простор безбурный
Седыми дебрями,
По тихим плесам,
Пустынным и́зволокам
Волною бронзовой уходит вширь,
В поля, в суземья, где сойки с иволгами
Да труд отшельников в глухой глуши.

Но чуть умолкнет стройный благовест —
И, коль дух твой чист и скорбен,
Землю черную, сырую,
Слушай, спешившись с коня:
То не боры дышат влагою,
Не в тальцах лепечут струи,
Не к младенческому корню
Льнет глубинный ключ, звеня —

Это шепчет темный Муром,
Это молятся смольчане,
Это бают Псков и Туров,
Мглин и Пермь;
Это рдеет цветом хмурым
Скорбь народная в молчаньи,
Это чают смерд и схимник,
Знать и чернь.

— Ох, тяжка шуйца́ Борисова!
    Ох, десница тяжела!
Грузом страшным тянут вниз его
    Непрощенные дела.

Бают старцы, боль Руси́ леча:
    — Благодати в царстве — нет;
Тем, кто знал Иван Василича,
    Ясен корень смут и бед!
Явен ход закона адского:
    Взявший власть — прислужник злу;
Вторьем горя цареградского
    Русь нисходит в мрак и мглу.

Над неправедным и правым
    Меч повис.
Кто безумствует? Кто правит?
    Он, Борис.
Кто выходит в византийском
    Блеске риз,
Зло — узорным скрыв витийством?
    Он, Борис.

Только нет благословенья;
Только чей-то темный шорох
В самых недрах, у истоков
    Дел царя.
Светлым думам нет свершенья,
Нету слуг мечте огромной,
И года в пустых просторах
    Гаснут зря.

Слушай, люд! Народ в Архангельске
Видел, видел ясным днем:
Рдели стяги рати ангельской
В тучах сполохом-огнем.
Зрел ли кто при дедах-прадедах
Сих знамений и чудес,
Как ладья с Синклитом праведных,
Отходящих в глубь небес!
Слезы их — о неизведанной
Буре завтрашних годин,
О России, свыше преданной
Свисту вьюг и звону льдин...

...Жгучей засухой, порошею, росой
Бродит в вéтошке бездомный да босой,
Слышит смехи в завихрившейся пыли,
Ловит хохоты во рвах из-под земли —

Вот, поймал: качает Велга
Чей-то облик неживой:
— Царевал ты, Ваня, долго
Над Москвой —
Поцарюй теперь со мной,
Поцарюй,
В снежуре моей шальной
Погорюй,
Повертись со мной кругом,
Полети,
Загляни-ка в новый дом
По пути!

...Ветер мечется ли, дождик ли косой —
Все юродствует на папертях босой,
Для ярыжек все одно и для старух —
Про пожары буйно рыжие да рух.

Но лихие второсмыслы — не для всех,
И темно в косноязычных словесех,
И он сам лишь тихомолком повторит,
Что гасительница-Велга говорит:

— Хоть весь мир догорит —
Не умрем.
Хочешь, Ваня,— говорит,—
Вновь царем?
Понатужься! не робей!
Что нам суд?
Приготовила тебе я
Сосуд
Недородов да разрух
Круговой:
Плоть — приблудная, а дух
Будет твой.

Непотребное бормочут бесоблудные уста!
Прощелыгу дождик мочит — ни молитвы, ни поста,
Лишь монах, дорогой в келью
Услыхав да рассудив —

Призадумывается,
Пригорюнивается,—
«Видно, Русь, крутое зелье
Нам заваривает див!»

Слышу тайну самозванца
Через бред кудес и хроник —
Тайну, хищную, как грай
Воронья:
То вились, не умирая,
Вкруг безвестного младенца,
Как свистящие воронки,
Сонмы «я»,—
Проникали в ум и волю
Дымно-сумрачные клочья,
Волглым, теплым средоточьем
Плоть избрав,
И поверил отрок вольный,
Будто бьется в юном сердце
Кровь великих самодержцев,
Право прав.

Сам собой, непостижимо,
Вспоминался душный Углич,
Лица мамок — ожерелье —
Двор, клинок —
Взор, сверкнувший точно угли,
Смертный ужас — вихрь видений —
Годы в затхлой, скрытой келье
С псом у ног.
А потом — по ветрогону —
Путь, рубеж, Литва, блужданья,—
С каждым днем другой, безмерный,
Вихревой,
В о́ны дни причастный трону,
В ум вжигал воспоминанья,
В утлом сердце холил веру
В жребий свой.

Чует Русь, как волю, разум
Бьет озноб.
Нечисть выпрыгнула сразу
Вдоль всех троп.
Кычит, манит в яр да в топи,
В тряс и колч пустых арайн,—

По ночам — возня и топот
Вдоль посадов и окрайн —
В дымы кутается,
В ногах путается,
Будто хляби меришь вброд,—
И приглядывается,
И прислушивается
К ее пóсулам народ.

Давит судьбы гнет острожный
На плечах.
От подмены невозможной
Зыбь в очах:
Он ли то — за рубежами
Ляшских рек
Уже плещется как пламя,
Уж полощется как знамя,
В склики бьет над городами —
Демон? призрак? человек?

С каждым днем он шире, больше,
Он ползет в степи как пал,
Он грядет из вражьей Польши —
Северск пал —
Годунову кровь из горла
Обагрянила парчу...
Кто-то тьму, как плащ, простёрло,
Тихо дунув на свечу —
И развертывается,
И распахивается
Для пришельца вся страна.
До нехоженых,
Тундр немереных
Вся насквозь врагу видна.

Вся!..
С царьградскими венцами,
С закомарами соборов,
С синим ладаном вечерень
Над Москвой,
С тихоструйными тальцами,
С непрохожим буйным бором,
Мхом дремучей сыроери
Вековой;
Мхом, русалочьим туманом,

С шумной песней своеволья,
С облаками, как святые
        Души гор,
С травным плеском по курганам,
С синим, синим дикопольем,—
Всею ширью, обреченной
        На раззор.

И в тиши — победоносец —
        Он идет.
                Он — здесь!..
Со смиреньем дароносиц
Никнут грады, села, весь.

Вот по лесу он идет
                        Темноствольному,
Вот проходит сквозь народ
                        К граду стольному.
День безоблачный,— сверканье,— синева —
Закружилась у безумца голова.

Но свернулся град драконий,
Грудь кольчужную крестя,—
Казней, узней, беззаконий
И святых молитв дитя.
Одесную и ошую
Злыми зубьями возрос,
Расцветил вдоль стен чешуи,
Башни зоркие вознес
И, алмазы белых храмов
В самом сердце затаив,
Длит сторожко и упрямо
Свой, уму невнятный, миф.

Сам собою — польских конниц
        Тише топ,
И невольно незнакомец
Обнажил высокий лоб.

— Гневный град, соперник Рима,
Вероломная Москва!
Кровью жертв ненасытима!
Верой двойственной жива!

Персть визжит от гнева-боли
        Под конем.

Даже вихрь — невесть отколе,
        Ясным днем,
Прах, осколки, щебень кинул,
Весть понес о пришлеце,
В Китай-городе низринул
Купол Спаса-на-Крестце...

Гневный город! грозный город!
С жалом аспида во рту!
Он змеей вползает в ворот,
Жалит исподволь в пяту...

Грозный город... Страшный город!
Он по гульбищам, мостам,
Губит первенцев, как Ирод,
Как Иуда, льнет к устам!..

Но тебе открыты настежь
Полукружья всех ворот —
Ты, что дивной сказкой застишь
Адских волн круговорот.
Человек, подобный тени,
С искрой Грозного в груди,—
Вверх! на тронные ступени
Мерной поступью всходи.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Предоставлен демиургом
Силам собственной гордыни,
В страхе ищет дух державы,
Кем возглавить сверхнарод.
Но сердца открыты пургам,
Пусты древние святыни,
Дряблы волей, мыслью ржавы,
Копят гнев — на брата брат.

Затаил — и бит, и порот —
Смерд надежду — мзду за муки.
В думных кельях ум России
        Дряхл и бел;
Гладят масленые руки
Душмы сивых, пышных бород,

И, как башни крепостные,
Мозг дремотный обомшел.

Не сойдет к мужам совета
Укрепить их мудрость даймон,
Не вручит сан родомысла
Никому!
Давний враг с латинской Вислы
Уж не шарит по окрайнам:
Им протоптана дорога
К сердцу русских самому.

Шаркнет стихшей слободой,
Шайкой панскою.
Глянет бритой бородой,
Шапкой басурманскою;
Вдруг блеснет из царских глаз
Сметкою зоркою;
Двор царицын бросит в пляс
Звонкою мазуркою.
Гордость княжью в рог согнет —
Шуйскую, Бельскую...
Православных полоснет
Плеткой польскою.

— А засуха ширится...
— А степи-то хмарятся?..
— А тучи-то тӧурятся...
— А солнце-то хмурится!

Жди, Москва, раскатов грома,
Тьму да гарь:
Небывалые хоромы
Строит царь!
С рогом чудище на кровле
Щерит пасть...
Зверь такой, по вере древлей,
Должен царствовать и пасть.

А уж сам-то: по посадам
Бродит пеш;
Ухо клонит к пересудам,
Смотрит — спишь ты или ешь;
Холит, холит думу злую...
Он ли то? Царь ли то?

Кем проверено былое,
Сказом лживым залито?

Но пришлец не слышал подозрений.
Он был храбр: он шел по лезвею́;
Но не даймон вел его, не гений
В злом краю.
Лишь порой, обуздывая тело,
Как захватчик утлого жилья,
Над беспечной волей тяготело
Непонятно-царственное «я».

Он был ветрен, добр и беспечален.
Жил для счастья, для потех дышал.
Никогда надгробье усыпален
Он о мудрости не вопрошал.
Что постиг он в царстве Мономаха?
Чем сумел упрочить торжество?
Он не знал спасительного страха
И не понял смысла своего.

— Ха-ха-ха!..— От брызжущего смеха
Дребезжит булат его доспеха.

Кто его берег бы? Хитрый
Уицраор чванной Польши?
Но далек зубчатый Краков,
Замки Вислы и Двины.
Велга? Но исчадью мрака
Он давно не нужен больше:
Ведь теперь он — царь Димитрий,
Страж страны.

Но и демону державы —
Не опора, не оружье
Это перекати-поле,
Царь на час,
Сей безродный рыцарь славы,
Чьи немереные судьбы —
Точно праздных вьюг на воле
Бражный пляс.

А старуха-то столица —
Сторука, столица,
Распластанна, огромна,
Стохрамна, стодомна,

Стозуба, стоброва,
Вся в шубах бобровых,
В игре — голосиста,
Звончей, чем монисто,
Бренчит бубенцами,
Ларцами, словцами,
Жемчужна, сапфирна...
В недужьи — стихирна,
Келейна, иконна,
Елейна, стозвонна...
В разбое ж да в бу́ести —
Клеймо ей на лбу нести!

Вот в Кремле еще роятся до поры
Свадьбы, игры, состязания, пиры.
Малой пташкою со шляхтой щебеча,
Разрумянилась царица сгоряча —

Полонезом проплывает вдоль палат...
А на кровле, неподвижен и крылат,
Чудо-юдо с человеческим лицом
Щурит очи над дворцом.

Ночь. В царевом опокое —
Духота.
У царя душа тоскою
Залита.
Душат пышные перины,
Ковш у изголовья — сух...

Беспокоен сон Марины,
Зыбок, глух.

Еле-еле брезжит утро.
За окошком — взвизги ветра
Да багровый плат восхода.

Он очнулся. Худо! худо!
Чу:
Вон — кажется —
Чуть
Звон слышится?
Бомм...
Бомм... рушится...
Иль
Сброд тешится?..

Из заречных слобод дальних —
Медь трезвонов колокольных:
От Чертолья, от Кожевник,
С Разгуляя, с Рымн, с Хамовник —
Иль пожар?..
бунт?..
Где?
Не в Стрелецкой слободе?!

Но уже неразличимы
Голоса церквей, соборов,
Улиц, спавших вероломно
Час назад.
Нор, дрожащею лучиной
Озарившихся спросонья,—
Все в единый гул огромный
Слил набат.

Рух!
Рух!
Всей Руси
глас, о Господи, спаси!..

Глас
тьмы
Вздыбливающейся!
В штурм
стен
Взлизывающейся!
Час
свор
Вламывающихся,
В паз
створ
Вваливающихся!..

А, мятеж?.. Ну, это рано!
Здесь — не Федор Годунов!

Он вскочил. В очах Марины —
Темень, ужас, блики снов...
Он — к окошку. Там — багрово,
За рекой — восход. Внизу —
Пухнет черная орава,
Плещет озером в грозу.

Вниз! во двор!.. Он колет, рубит
На крыльце орущий сброд —
Поздно! Меч как щепка выбит,
Ход по лестнице открыт.

Грозный город!.. страшный город!
С жалом аспида во рту!
Если он не может в ворот —
Жалит исподволь в пяту!..

Царь бросается от двери
К окнам внутренней стены:
Со двора под самый терем
Там леса подведены.
Тщетно! поздно!.. Рок разъемлет
Скрепы досок, связь углов,
                    Тес подламывается,
                    Мост проваливается,
И беглец на злую землю
Пять сажон летит стремглав.

На коне въезжает Шуйский
В Кремль, сарынью окружен:
Крест горит в подъятой шу́йце,
Меч — в деснице, без ножон.

Топот толп по доскам пола,
Будто всплески полых вод:
— Бей! ищи!! иль все пропало!!
— Где он? где он?
                    — Вот! вот!
— Он, угретый в папском Риме!
        Слатель бед!..
— Кто ты, падаль? Имя! имя!—
        И в ответ
Из предсмертного тумана
Шепот, слышимый едва:

— Я — от рода Иоанна...
Твой законный царь, Москва!

Так владелец части Грозного в груди
Исповедовался, Бог его суди:
Так, в загробное судилище влеком,
Еле вымолвил косневшим языком.

Потащили его — по горючим
    Злым кремлевским камням,
По кровавым, по мстительным, жгучим
    Сорока ступеням.

Одолел он весь путь без усилий —
    Все царево крыльцо;
В зубы втиснули дудку; укрыли
    Черной маской лицо;
Жгут стянули на горле... И прямо
    У порогов Кремля
Распростерли, для горшего срама
    Белый труп оголя.

Над развенчанным призраком в маске
    Измывался народ
Целый день — меж Никольских и Спасских,
    Двух великих ворот.
И, вершитель безумств и насилий,
Новый призрак кромешных времен,
Был у Лобного места Василий
    В тяжесть барм облачен.

Вот смеркается. Отблески зарев
Кремль и Красную тускло багрят,
Кровеня белый столп государев
И церквей беззащитный наряд.
Над качнувшейся русской твердыней
Уицраор вчерашних годин
Битву с хищной сестрой и врагиней
Начинает — один на один.

И над трупом ночные дозоры
    Ставит царский указ:
«Не сводить с богохульника-вора
    Зорких глаз!»

Сумрак площади пуст. Голк бу́нта
Смолк в посадах. Ночной град — нем.
Поздний отсвет зари лег лентой...
Чу, вверху — голоса... кто? с кем?..
Взад-вперед, взад-вперед бдит стража,
Чуть белеет в сырой мгле труп...
Синеватый огонь — знак вражий —
Вдруг под маской мелькнул, у губ.

И откуда невесть — гром рога
Разметал будкий сон Москвы,
Будто с ветром ночным рать Гога
И Магога пришла, как львы.
Зарыдала сопель, взвыл бубен,
Чей-то, выше крестов, взмыл визг...
Разухабистый пляс — дик, дробен —
Вверх и вниз загудел, вверх-вниз.
Понеслись, гогоча, вскачь бесы
Через площадь — из ям, из рвов,
И на миг разошлась завеса
Вековая меж двух миров.
И, подхвачен смерчем в край Велги,
В край гасительницы всех душ,
Он понесся к ней вдаль, в дождь мелкий,
В дождь нездешний, вдоль ям и луж.

Но такой Мрак веял оттуда,
Что, завыв, закричав, моля,
Вновь рванулось в мертвую груду
И забилось к ней в щели «я».

Пусть его, приказом царевым,
На туманной, мутной заре
Волны черни с похмельным ревом
Повлачили к смрадной дыре.
Но едва царь утром из храма
Шаг ступил — уж гремела весть,
Что, ожив, труп вышел из ямы
И что синих огней — не счесть.

Доводя до безумств немилость,
Свирепея, как дух чумы,
Жгучим гневом воспламенилось
В уицраоре семя тьмы.
Страхом, ненавистью и злобой,
Той, что все сокрушает зря,
Преисполнил он узколобый,
Едко-мстительный ум царя.
Еще рдел меж зубцов край солнца,
Еще издали в Кремль шла ночь,
А приказ уж был — самозванца
Сжечь, кромсать, истерзать, толочь.
И когда многоногий топот,
Довершив это дело, стих —

Пушка ухнула в мрак, на запад,
У ворот у Серпуховских.

Залп развеялся, пепел се́я
Лжевоскресшего лжецаря...
Залп развеялся.
Плач, Россия,
Плач, безумную казнь творя!
И под лунным знаком двурогим
Он понесся, быстрей совы,
По дорогам, хмурым дорогам,
На безмолвный
рубеж Литвы.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Велги бедный скоморох,
Горстка пепла,
Рыщет, ищет вдоль дорог
Ду́ши — ду́пла;
В кабаке, под гам и крик
С бранью райкой,
В сердце праздное проник,
Вьется струйкой;
Льется, в дьявольской алчбе,
С током крови,
Плоть горячую себе
Хо́лит внове.

— Ой, царя Димитрия хранил, знать, бес:
Спас уловкой хитрою, укрыл в яр, в лес;
Жив, здоров, целехонек,— тучней, чем встарь,—
Сатанин помазанник, упырь! бич! царь!

Скрыл ли бес его меж сов,
Спрятал ли средь чащ его —
Только вышел из лесов
Образ шни гулящего.
Сам забыл вчерашний тать,
Плут без племени,
Как дерзнул вождем он стать
В этой темени.
Сам не знал, пургой гоним —
Кто он, где он,

Только чует, будто с ним
      Чей-то демон
Веет вкруг калужских стен,
      Кличет вольных —
Рать сметает в его стан
      С троп крамольных.

Óх ты, óх ты,
                  э́х ты, э́х ты,
      Сын боярского раба,
Судьбокрутень, скоморох ты!
      В пальцах беса тарнаба!
Э́х ты, э́х ты,— áх ты, áх ты,
      Ух! горлан ватаг и свор!
Царь татар, казаков, шляхты
      И дворян — Тушинский вор!

Нечто лютое вошло
      В сердце каждое:
Обнажает дно и тло,
      Бесит жаждою;
Колобродит напролом
      В сонмах душ оно,
И боярство — бить челом
      Едет в Тушино.

Что грозишься, Русь-земля,
      Волчье зарево,
В щуры смолкшего Кремля
      Государева?
Иль под нудный звяк цепей
      Жизнь наскучила?
Иль вольней — взамен царей
      Холить чучела?..

Вьюга-матушка! закрой
      Даль безлицую:
Вон сереет кремль второй
      Под столицею:
Весь в палатках — город-стан,
      Город-марево,—
Там с Мариной атаман —
      Бражный царь его.

От дракона, от колосса
Умирающей державы
Тени детищ стоголосых
        Рвутся вширь:
Каждый — алчный, многоглавый,
Каждый — хочет, жаждет, нудит
Пить, упав к народной груди,
        Как упырь.

— Отпочковываются...
— Отклочковываются...

И все явственней в тучах восстаний
Эти ядра вихрящейся тьмы,
Все безумней их схватки, их танец
        И мелькание их бахромы.
И уже не понять: то ли Велга
Грает в небе черней воронья,
То ль по руслам, широким, как Волга,
        Льются призраки небытия.
То ли к нивам земли скудоплодной
С поля Дикого мчит суховей,
То ли Матери многонародной
        Плач о гибели сыновей.
Взвыла осень. Крепчает кручина,
Оторочится сумраком день,
И в поля замигает лучина
Из-под низкого лба деревень.

Ах, сырые поля! дождевые!
        Голос баб на юру:
Это — мать; не поднять головы ей
        С трав сырых ввечеру.

        — Уходил ты за Черную Рамень,
        Пал от ран — я жива —
        Размозжись о горюч-белый камень
                Голова!

Ах, сырые поля, дождевые!
        Прель и прах... Горький дух...
Ворот шитый растерзан на вые
        Молодух.

        — Где могилка твоя неукрашенная,
        Далека ли? близка ли?

Сбились с ног ребятеночки наши,
Твое тело искали.
Лег в степи ли потоптанной, помер ли
Под секирой, в тюрьме ли —
Только вышла жена твоя по миру
Куда очи глядели.

Ах, сырые поля, грозовые поля,
Да полынь, да бурьян, да репей,
Вероломство чарус, да лихая земля
Неумилостивленных степей!

Ах, сырые поля, дождевые!
Вопли баб... Хохот баб...
Уж кругом — кудеса вихревые,
Смерд и поп — дьяк и раб —
То зипун, то юшман, то бродяжья мило́ть,
Чмур и чад полюбовных забав,—
Кто-то наземь швыряет, внедряется в плоть,
Перегаром лицо одышав.

Вижу мутный разлив полноводный,
Слышу древние, лютые сны —
Плач защитницы плоти народной
О погибели всей страны.
Уж не демону бурной России —
Нет, любому исчадью его
Расточает она огневые
Ласки, жалобы,— все существо:
Лишь восполнить страшную убыль,
Лишь народную плоть умножать,
Отогнать всероссийскую гибель,
Как от детищ — безумнаю мать!..

Не в Кремле, на царственном ложе,
Но в оврагах, во рву, в грязи,
С незнакомым, злым, мимохожим
Ее скрещиваются стези.
И уже не поймешь: то ль в блеске
От костров, она мчится в пляс,
То ль — другая, без черт, лишь в маске,
Торжествует свой день, свой час.
В пламенеющих тканях — в тучах
От развеиваемых городов,
Две богини борются, муча

Матерей, и невест, и вдов.
Две богини — два существа,
А под ними страна —
Москва.

И последней судорогой воли
Уицраор творит слугу,
Кто б сумел на древнем престоле
Русь поднять на отпор врагу.

Светлонравен, могуч, дороден,
Мудр и храбр Михаил Скопин:
Ток любви народной восходит
К искупителю древних вин.

Взмах на юг — и рваною мглою
Расточится кромешник Вор;
Взмах на запад — и мощь удалая
Бьет об панцири польских свор...

Богатырь!.. Золотым трезвонам
Всех московских соборов внемль!
Уж гудит хвалой по амвонам
И на стогнах широких Кремль.

Только — поздно! Белые пурги
Все укроют бронею льда,
Но вовек не вернут демиурги,
Раз отняв уже,— свое ДА.

Стужей, изморосью, в ростепель, босой,
Бродит бебенем бездомный да босой,
Слышит смехи в завихрившейся пыли,
Ловит хохоты во рвах из-под земли —

Вот — поймал:
пересвистом, перегромом
Кычит Велга над судьбой богатыря;
Не спасут его бояре по хоромам,
Ни святители в стенах алтаря!

Пир. Пылающие свечи. Смех и гам.
Мнится — близок упокой всем врагам.
Лишь боярыня-хозяйка бледна,
На подносе поднося́ ковш вина.

Взор змеиный, а как пава плывет,
Гостю-витязю, склонясь, подает:
— Выпей зелена вина, сударь-князь!—
И он кубок берет, не хранясь.

Взвыла горькая Москва — сирота.
Плачем плачут города всей Руси.
В топких улицах от толп чернота,
А от Велги чернота в небеси.

От успенских святынь до застав —
Вопль, рыданья, топот ног, визг колес:
Царь Василий, перед троном упав,
Рвет кафтан, задыхаясь от слез.

Не ввели вас ангелы благие
Под святой покров,
Вы, надежда, светочи России,
Скопин-Шуйский; Федор Годунов!
Ибо кубок смерти и бесславья
Осужден был выпить в этот час
Первый Демон Великодержавья,
Перед смертью пе́стовавший вас.
Там, за гробом, вам — все море света,
В жизни ж — яд, петля́ да в ближний ров...
Не прибудет помощь Яросвета:
Рок суров.

В круг последнего мытарства,
Все дымясь, клубясь, горя,
Распадаясь, никнет царство
Всероссийского царя.

Уицраоров подкидыш,
Буйных бесов бедный кум,
Все ты, Шуйский, черту выдашь,
Бесталанный узкодум!

День за днем пустей в палатах...
Ветер крышей дребезжит...
С красных век подслеповатых
Сон бежит.

Звездочет, взревев на дыбе,
Видно, злую правду рек:

Знаки звезд вещают гибель,
Близкий мрак...
Адский брег...

Дряхлым ртом, в чаду моленной
Пол целуя, в блеске свеч
Молит царь Судью вселенной
Жизнь сберечь.
Но суров закон созвездий,
Прав их путь,
И железное возмездье
Изменяет вид — не суть:
Да, не казнь. Не смерть. Но скоро
Вступит он на путь ко дну —
В дни, позорней всех позоров,
В польской крепости, в плену.
Как! В плену?!
Да, в плену.
Но и там не снять вину:
Там, коленопреклоненно,
Срам с холопом разделя,
Он приникнет в зале тронной
К белым пальцам короля.

В города, в скиты глухие —
Шепот уст:
— Совершилось! Трон России
Пуст.
И еще — страшней всех страхов
И измен:
В башне пыточной, у ляхов
Гермоген.
Патриарх, надежда мира,
Столп Руси...
Господи! От злой секиры
Света-пастыря спаси!

А на воле — ветер, ветер,
А на воле ропщет люд;
Запад, юг, восток и север
Самозванцев новых шлют.
Уж в очах рябит... и тяжко
Явь колышется, как сон:
Царь Ерошка... царь Ивашка...
Тришка... Тишка... Агафон...

В поле дикое
Мчатся, гикая,
Чехардой за бесом бес,
Лают óборотни,
Кувыркнулся — и исчез,
Сгинул опрометью.
Сдох один на правеже —
Встречай горшего!
Не орлы уже —
Только коршуны.
Ни добра, ни зла,
Ни отечества,
Не щадят ни ремесла,
Ни купечества...

Орды ханские!
Морды хамские!

Только слышно: — Й-их! —
В хмельной удали...
То ли Каин в них?
Сам Иуда ли?

Ржанье конское!
Степь задонская!

С дьяком, смердом, стражником в гульбе слив чернь,
Вьются судьбы страшные, крутясь, как зернь.
В буйные снегóвища, сквозь рев, всхлип, плач,
Конники-чудовища во мгле мчат вскачь.

Ветер с ледоходов... слеза... резь глаз...
Черти с непогодою длят свой пляс;
Сивой снегокрутицей шуршат вдоль троп,
Черною распутицей глушат галоп.

Хмель туманит головы. В метель и в таль —
Вскачь!.. Пылают головы... в кострах вся даль.
У костров — шумúголовы. Вкруг — ни зги.
— Не ковшами—пригоршнями—пой!—Режь!—Жги!

Не понять: ночь? день? вечер ли?
Что за год? век?.. Из ума
Взмахи битв, бурь, бед — вытерли
Все, что Бог...
что не есть тьма.

Не персты рук в рот вложены,
Не лихой встал вверх свист:
Сам собой смерк свет в хижинах
И с дубов пал в грязь лист.
Звук крепчал, рос, выл в сумерках,
Как буран, как злой рух,
Как ночной рог, вопль у́мерших,
И пред ним луч звезд тух.
Трепетал нимб свеч в храмах,
По домам люд тряс зноб;
У кладбищ, рвов, пней, в ямах
Мелкой дрожью дрожал гроб.

Так встречал свой конец смертный
Уицраор — сам раб тьмы.
Так кричал он — слепой жертвой
Сил, которых не зрим мы.

Раздираем на рой дымов
Сворой детищ своих, к тлу
Он низвергся, удел вынув
Тот, что вечно сужден Злу.
И толпа его чад свищущих,
Улюлюкая вновь, вновь,
Устремилась — пожрать хищное
Сердце отчее и пить кровь.
Так обрушились врозь плиты,
Возраставшие семь веков;
Захлестнула Речь Посполита
И Москву, и ее богов.
И слились — пурговой Яик,
Волга, Волхов — в один шквал
Вольниц Велги, ватаг, шаек,
Где сам дьявол рать волн гнал.

А над ними, к небосводу,
Из твердынь былого царства,
Дальним блеском тьму России
С туч надмирных пороша,
Светлой мглою воспаряла,
Чашей света возносилась,
Отрываясь от народа
Ввысь, Соборная Душа.

Струны смутные звучали,
Струи капали святые
И, не смея досверкать
　　До земли,
В поднебесьи меркли, тая:
То ли плач самой печали,
То ль — прощанье Навны с миром
　　Там, вдали.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Хмелея в дни счастья, плача — в разлуку
И чувства влагая в размер, в звон строф,
Что ведать мы властны про боль, страсть, муку
Гигантов — не наших, смежных миров?

Превысив безмерно наш жар, наш холод,
Знакомых нам бурь размах и разбег,
Их гнев сокрушает бут царств, как молот,
Их скорбь необъятна, как шум ста рек.

И если бы в камне словесном высечь
Сумел я подобья тех слов, тех чувств —
Расплавился б разум тысяч и тысяч
От прикосновенья к чуду искусств.

Но не с чем сравнить мне жар состраданья,
Тоску за народ, порыв к высоте,
Что сам демиург бушующей данью
Принес перед Богом в годины те.

Взыскуемый храм Вселенского Братства
Едва различался вдали, в дыму;
Излучины бедствий, подмен, святотатства,
Столетья соблазнов вели к нему.

И пал Яросвет, и коленосклоненно
Лобзал кровавую персть страны,
Себя наказуя мукой бездонной
За плод своей давней, жгучей вины.

И, чтоб охранить от развоплощенья
Соборную Душу, на старый престол
Он нового демона царствостроенья
Избрал, благословил и возвел.

Полночь ударила в тучах. И звук
Смолк, зачиная невиданный круг:
Новые тропы и новую кровь
Дню народившемуся приготовь!

Вот в средоточьи церкви Востока
Строгое сердце горит за страну.
Отче святой! К благодатным истокам
Творчеством, думой и верой льну.

Серые своды.
Серая плесень.
В близком грядущем — смерть за народ.
И Яросветом
Посланный Вестник
Над патриархом России встает.

Стража у двери. Стужа. Зима.
Голоду-брату — сестра-тюрьма.
Солнце не обольет на заре
Ке́лейку в Чудовом монастыре.
Но непреклонный пленник привык
К лютым угрозам польских владык,
И безответно здесь замирал
Месс католических мерный хорал.

Грозные очи. Скорбь и нужда
Лик сей ваяли года и года.
Тихая речь тверда, как гранит.
Взор обжигает — и леденит.
Чуждые помыслы в облике том
Вытравлены беспощадным постом,
И полыхание странной зари
Светится в дряхлых чертах изнутри.

В четком ли бденьи вечернем,
В зыби ли тонкого сна,
Пурпуром, синью и чернью
Плещет над ним вышина.
В разум по лестнице узкой
Властно спускаясь во мгле,
Правит Синклит святорусский
Узником в пленном Кремле.
Быстро, в чуть скошенных стро́ках,
Буквы рябят на бегу:

Северу, югу, востоку,
Градам в золе и в снегу,
Селам в отребьях убогих,
Хатам без крыш и без стен —
Клич единящий:— За Бога!—
Подпись одна: Гермоген.

А в поле Дикое
Мчатся, гикая,
Мчатся все еще
Волны воль,
Рвань побоищ,
Пустая голь.

Но в ночи зимние
Тихие пазори
Встали по многострадальной земле.
Молятся схимники,
Молятся пастыри
По́том кровавым за мир во зле:

— О, Матере Пренепорочная!
Заступница землям гонимым!
Ты светишь звездой полуночною,
Хранишь омофором незримым.
Ути́ши единством неложным
И буйство, и злое горение,
Конец положи непреложный
Конечному разорению!

И над свечами
Духовных ковчегов
Тихо яснеет сходящий покров —
Кров от печали,
От ярых набегов,
От преисподних вьюг и ветров.

Звон
медный,
Звон
дальний,
Зов
медленный
В мир
Дольний,

Всем
  алчущим —
Клад
  тайный,
Всем плачущим —
  лад стройный,
Чуть брезжущий в мрак мира
С бесплотных вершин дней,
Плывет по полям сирым
Вдоль пустошей, нив, пней.

Наездник уронит поводья
В урочищах, сгибших до тла,
Заслушав сквозь гул половодья
Неспешные колокола.
  Рука поднимается,
  Чело обнажается,
Во взоре затепливается тихая боль,
  И встречным молчанием,
  И вечным знамением
Себя осеняет пропащая голь.

И скорбно, и тонко, и сладко
Поют перезвоны вдали
От Троицкой лавры, от Вятки,
От скал Соловецкой земли.

  И зов к покаянию,
  К забвению розни,
  Ни расстояния,
  Ни шумы жизни
  Не властны в плачущих
  Сердцах ослабить,—
  О, белый благовест!
  Небесный лебедь!

Он тих был везде: по украйнам
У хаток, прижатых к бугру,
По жестким уральским арайнам,
В нехоженом Брынском бору.
По стогнам, дымящимся кровью,
Смолкала на миг у костра
Лихая сарынь Понизовья,
Казань, Запорожье, Югра.
Бродяга в избитой кольчуге

Задумывался до зари
На торжищах пьяной Калуги,
На пепле скорбящей Твери.
Юдоль прорывалась к сиянью,
Сквозь церковь сходившему в ад,
И огненный клич — К покаянью!—
Пошел по стране, как набат.
Келейно, народно, соборно,
Под кровом любого жилья,
        Лен духа затепливая,
        Воск воли растапливая,
Зайскрились свечи, как зерна
Светящихся нив бытия.

Детища демона тысячеглавого
Борются в схватках орд и дружин;
Темные ядра грядущей державы
Ще́рятся в каждом, Русь закружив.
Но обращается взор демиурга
Солнцеподобным лучом в глубину:
Не к атаманам, в чьих распрях и торгах
Исчадья геенны рвут страну;
Не к вольницам, чья удалая свобода
Закатывается под карк воронья,—
Но к вечным устоям, к корню народа,
К первичным пластам его бытия.
Туда, где лампаду веры и долга,
Тихо зажегшуюся в ответ,
Не угасят — ни хищная Велга,
Ни те, кому знаков словесных нет.

В глубь сверхнарода из пыточных стен
Зов демиурга шлет Гермоген.

        Кличут на площади,
        Кличут на паперти,
Кличут с амвонов, с камней пепелищ,
        И толпы все гуще,
        И новою мощью
Народ исполняется, темен и нищ.

        Звери́н по-медвежьему,
        Голоден,— где ж ему
Ратью босой опрокинуть врага?
        С бесовского Тушина

Царство разрушено
И разнизались все жемчуга.

Виновен — как русский, но волей — невинен,
Подвигнут на бой набатом души,
Выходит в народ родомысл Минин
Из волжской богосохранной глуши.

Сажённые плечи, выя бычачья,
Лоб шишковат и бел, а глаза —
Озера в дремучей ке́рженской чаще,
Где пляшет на солнышке стрекоза.

Йстово и размеренно годы
В набожном скопидомстве текли
У щедрых и горьких сосцов природы,
В суровом безбурье черной земли.
Но колокол потрясающей Правды
Ударил по совести, и жена
Уже причитаньями красит проводы,
В сердце покорное поражена.
Он говорит на горланящем рынке —
Чудо: народ глядит не дыша,
В смерде, в купце, в белодворце, в иноке
Настежь распахивается душа,
И золотые сокровища льются
В чашу восторга, в один порыв,
Будни вседневной купли и торга
Праздником мученичества покрыв.

Де́дами купленное,
Го́дами копленное,
Лалы, парча, соболя, жемчуга —
К площади сносятся,
Грудою высятся,—
Отроки просятся
На врага.

В тесной усадьбе
К смерти готовится
Военачальник,— ранен в бою;
Но полководцу
Участь — прославиться
И довершить победу свою.
Раны залечиваются,

Мысли просвечиваются
Солнцем премудрости и добра,
И к многотрудному
Подвигу ратному
Избранный свыше встает с одра.

Мир в тумане. Еле брезжится
День на дальнем берегу.
Рать безмолвной тучей движется
Чрез Оку.

Час священный пробил. Вот уже
Враг скудеет в естестве,
Боронясь сверх сил наотмашь
В обесчещенной Москве.
Изогнулся град драконий,
Не забыв и не простя,—
Казней, узней, беззаконий
И святых молитв дитя!
Размозжен, разбит, распорот,
Весь в крови, в золе, в поту,
Грозный город! Страшный город!
С жалом аспида во рту!

То ли древних темноверий,
То ли странной правды полн,
Кликнул он — и вот, у двери,
Гул и гром народных волн.
Рог гремит немолчной трелью.
А внизу — не пыль, не прах —
Будто женственные крылья
Плещут стягами в полках.
Высь развернута, как книга.
Жизни топятся, как воск.
Дышит страсть Архистратига
В рвеньи войск.

И, огромней правды царской
Правду выстрадав свою,
Родомысл ведет — Пожарский —
Рать к венчанию в бою.
И, скрестясь над родомыслом,
Блещут явно два луча,

Разнозначным, странным смыслом
В поднебесьи трепеща.
Слышно Господа. Но где Он?
Слит с ним чей суровый клич?
Царству избран новый демон,
Страж и бич.
Он рожден в круговороте,
В бурных, хлещущих ночах —
Кровь от крови, плоть от плоти
Двух начал.
Он отрубит в бранном поле
Велге правое крыло,
Чтоб чудовище, от боли
Взвыв, в расщелье уползло.

Лучше он, чем смерть народа,
Лучше он;
Но темна его природа,
Лют закон.
И не он таит ответы
Стонам скорбной старины —
Внук невольный Яросвета
И исчадье сатаны.

Он грядет, бренча доспехом,
Он растет,
Он ведет победам-вехам
Властный счет.
Зван на помощь демиургом,
Весь он — воля к власти, весь,
Он, кто богом Петербурга
Чрез столетье станет здесь.
И, покорство разрывая,
Волю к мощи разнуздав,
Плоть и жизнь родного края
Стиснет, стиснет, как удав.
Жестока его природа,
Лют закон.
Но не он — так смерть народа.
Лучше — он!
Вот зачем скрестились снова
Два луча: из них второй —
Уицраора Второго —
Бурный, чермный, вихревой.

Звон
мерный,
Звон
медный
Раскатывается, как пурпур
Небесного коронования, над родиной рокочá.
Всем слышащим возвещая победу над Велгой бурной
Владыки двух ипостасей — героя и палача.

К Успенскому от Грановитой пурпуровая дорога
Ложится, как память крови, живая и в торжестве,
И выстраданная династия смиренным слугою Бога
Таинственно помазуется в склоняющейся Москве.
О призванном ко владычеству над миром огня и крови,
О праведнейшем, христолюбивейшем, самодержавнейшем всей Руси
Вздымаются, веют, плещутся молитвенные славословия
И тают златыми волнами в Кремле, что на Небеси.

И вновь на родовых холодных пепелищах
Отстаивает жизнь исконные права:
Сквозь голый шум дерев и причитанья нищих—
Удары топоров и лай собак у рва.

Так Апокалипсис великой смуты духа
Дочитывает Русь, как свой начальный миф,
Небесный благовест прияв сквозь звоны руха
И адским пламенем свой образ опалив.

Меж четырех морей — урманов хмурых марево,
Мир шепчущих трущоб да волчьих пустырей.
Дымится кровью жертв притихший Кремль — алтарь его,
Алтарь его богов меж четырех морей.

И, превзойдя венцом все башни монастырские,
Недвижен до небес весь белый исполин...
О, избранной страны просторы богатырские!
О, высота высот! О, глубина глубин!

1952
Владимир

ПРЕДВАРЕНИЯ

О МОСКВЕ

Перед близким утром кровавым
В тишине свечу мою теплю
Не о мзде неправым и правым,
Не о селах в прахе и пепле.

Но о ней — о восьмивеко́вой,
Полнострастной, бурной, крамольной,
Многошумной, многовенцовой,
Многогранной, рабской и вольной!

Ведь любовью полно, как чаша,
Сердце русское, ввысь воздето,
Перед каменной матерью нашей,
Водоемом мрака и света.

О, достойней есть, величавей
Города пред Твоими очами,
Жемчуга на Твоей державе,
Цепь лампад во вселенском храме.

Но в лукавой, буйной столице,
Под крылом химер и чудовищ,
До сих пор нетленно таится
Наше лучшее из сокровищ:

Поколений былых раздумья,
Просветленных искусств созданья,
Наших вер святое безумье,
Наших гениев упованья,

Смолкший звук песнопений, петых
В полумраке древних святилищ,
Правда мудрых письмен, согретых
Лаской тихою книгохранилищ...

Не кропи их водою мертвой!
Не вмени нам лжи и подмены!
Опусти святой омофор Твой —
Кровлю мира — на эти стены!

1952

* * *

Мы на завтрашний день
негодуем, и плачем, и ропщем.
Да, он крут, он кровав —
день побоищ, день бурь и суда.
Но он дверь, он ступень
между будущим братством всеобщим
И гордыней держав,
разрушающихся навсегда.
Послезавтрашний день —
точно пустоши после потопа:
Станем прочно стопой
мы на грунт этих новых веков,
И воздвигнется сень
небывалых содружеств Европы,
Всеобъемлющий строй
единящихся материков.
Но я вижу другой —
день далекий, преемственно-третий,
Он ничем не замглен,
он не знает ни войн, ни разрух;
Он лазурной дугой
голубеет в исходе столетья,
И к нему устремлен,
лишь о нем пламенеет мой дух.

1952

СКВОЗЬ ТЮРЕМНЫЕ СТЕНЫ

Завершается труд,
раскрывается вся панорама:
Из невиданных руд
для постройки извлек я металл,
Плиты слова, как бут,
обгранил для желанного храма,
Из отесанных груд
многотонный устой создавал.

Будет ярус другой:
в нем пространство предстанет огромней;
Будет сфера — с игрой
золотых полукруглых полос...
Камня хватит: вдали,
за излучиной каменоломни
Блеском утра залит
непочатый гранитный колосс.

Если жизнь и покой
суждены мне в клокочущем мире,
Я надежной киркой
глыбы камня от глыб оторву,
И, невзгодам вразрез,
будет радость — все шире и шире
Видеть купол и крест,
довершаемые наяву.

Мне, слепцу и рабу,
наважденья ночей расторгая,
Указуя тропу
к обретенью заоблачных прав,
Все поняв и простив,
отдала этот труд Всеблагая,
Ослепительный миф —
свет грядущего — предуказав.

Нет! не зодчим, дворцы
создающим под солнцем и ветром,

Купола и венцы
возводя в голубой окоем —
В недрах русской тюрьмы
я тружусь над таинственным метром
До рассветной каймы
в тусклооком окошке моем.

Дни скорбей и труда —
эти грузные, косные годы
Рухнут вниз, как обвал —
уже вольные дали видны,
Никогда, никогда
не впивал я столь дивной свободы,
Никогда не вдыхал
всею грудью такой глубины!

В круг последних мытарств
я с народом безбрежным вступаю —
Миллионная нить
в глубине мирового узла...
Сквозь крушение царств
проведи до заветного края,
Ты, что можешь хранить
и листок придорожный от зла!

1956

СКВОЗЬ ПРИРОДУ

* * *

Вы, реки сонные,
Да шум сосны —
Душа бездонная
Моей страны.

Шурша султанами,
Ковыль, пырей
Спят над курганами
Богатырей.

В лесной глуши горя,
Не гаснет сказ
Про доблесть Игоря,
Про чудный Спас.

И сердцу дороги,
Как вещий сон,
Живые шорохи
Былых времен:

Над этой поймою —
Костры древлян,
Осины стройные
Сырых полян,

Луна над мелями,
Дурман лугов,
В тумане медленном
Верхи стогов.

Вода текучая —
Все прочь и прочь,
Звезда падучая
В немую ночь!

1950

* * *

Про всенародное наше Вчера,
Про древность я говорю.
Про вечность. Про эти вот вечера,
Про эту зарю.

Про вызревающее в борозде,
Взрыхленной плугом эпох,
Семя, подобное тихой звезде,
Но солнечное, как Бог.

Не заговорщик я, не бандит,—
Я вестник другого дня.
А тех, кто сегодняшнему кадит,—
Достаточно без меня.

1950

* * *

Таится дремный мир сказаний,
Веков родных щемящий зов
В нешумной музыке прозваний
Старинных русских городов.

О боре сказочном и хмуром,
О мухоморах в мягком мху
Услышишь память в слове *Муром,*
Приятном чуткому стиху.

Встает простор пустынный, пенный,
На побережьях — конский порск,
И город, бедный, белостенный,
Мне в прозвище *Белоозерск.*

Орлы ли, лебеди ли, гуси ль
Ширяли к облаку стремглав
От княжьих стрел, от звона гусель
У врат твоих, *Переяслав?*

И слышу в гордом слове *Туров*
Летящих в мрак ветвей и хвой
Упрямых, круторогих туров
С закинутою головой.

Ветрами чистыми овеян
Язык той девственной поры:
От песен первых, от церквей он,
От простодушной детворы.

И так ясны в той речи плавной
Общенья тех, кто речь творил,
С Душой народа, юной Навной,
Наитчицей творящих сил!

1955

В СЕМЬЕ ДРУЗЕЙ

Когда несносен станет гам
И шумных дней воронки жадные,
Ты по уютным городкам
Полюбишь семьи многочадные.

Хозяйка станет занимать
И проведет через гостиную,
Любовна и проста как мать,
Приветна ясностью старинною.

Завидев, что явился ты —
Друг батюшки, знакомый дедушки —
Протянут влажные персты
Чуть-чуть робеющие девушки.

К жасминам окна отворя,
Дом тих, гостей солидно слушая,
И ты, приятно говоря,
Купаешься в реке радушия.

Добронадежней всех «рагу»,
Уж на столе шипит и пышнится
Соседка брату-творогу —
Солнцеподобная яичница.

Ни — острых специй, ни — кислот...
Но скоро пальцы станут липкими
От шестигранных сладких сот,
Лугами пахнущих да липками.

Усядутся невдалеке
Мальчишки в трусиках, курносые,
Коричневы, как ил в реке,
Как птичий пух, светловолосые.

Вот, мягкостью босых подошв
Дощатый пол уютно щупая,
С реки вернется молодежь
С рассказом, гомоном да щукою.

Хозяин, молвив не спеша:
«А вот — на доннике, заметьте-ка!» —
Несет — добрейшая душа! —
Графин пузатый из буфетика.

И медленно, дождем с листа,
Беседа потечет — естественна,
Как этот городок проста,
Чистосердечна, благодейственна...

Как будто, воротясь домой,
Лежишь — лицом в траве некошеной...
Как будто обувь в жгучий зной
С ног истомленных к черту сброшена.

1950

* * *

Нет, не боюсь языческого лиха я.
Шмель, леший, дуб —
Мне любо все,— и плес, и чаща тихая,
И я им люб.

Здесь каждый ключ, ручей, болотце, лужица
Журчат мне: пей!
Кричат дрозды, кусты звенят и кружатся,
Хмелит шалфей.

Спешат мне тело — дикие, невинные —
В кольцо замкнуть,
Зеленым соком стебли брызжут длинные
На лоб, на грудь.

Скользят из рук, дрожат от наслаждения,
Льют птичий гам,
Касаясь, льнут, как в страстном сновидении,
К вискам, к губам,

Живые листья бьют об плечи темные,
В проемы чащ
Кидают под ноги луга поемные
Медвяный плащ,

Бросают тело вниз, в благоухание,
Во мхи, в цветы,
И сам не знаешь в общем ликовании,
Где — мир, где — ты.

1950

СЕРАЯ ТРАВКА

Полынушка, полынушка,
тихая травка,
серая, как придорожная пыль!
К лицу подношу эту мягкую ветку,
дышу — не могу надышаться,
как невозможно наслушаться песней
о самом любимейшем на земле.

Кто ее выдумал?
Какому поэту, какому художнику
в голову мог бы прийти
этот ослепительный запах?

Сухая межа в васильковом уборе;
жаворонок,
трепещущий в синей, теплой струе,
полузакрывши глаза
и солнцу подставив серую грудку;
зноем приласканные дороги;
лодки медлительных перевозов,
затерянных в медоносных лугах;
и облака кучевые,
подобные душам снежных хребтов,
поднявшихся к небу —
все в этом запахе,
в горьком духе полыни.

Когда я умру,
положите со мною, вместо цветов,
несколько этих волшебных веток,
чтобы подольше, подольше чувствовал я
радость смиренномудрой земли
и солнечной жизни!

Не позабудьте!

1950

СОЛОВЬИНАЯ НОЧЬ

Случается ночь, оторачивающая,
Как рамою, трель соловья,
Всем небом, землею укачивающею,
Всем чутким сном бытия.

Зеленый, почти малахитовый,
Чуть светится бледный свод,
И врезаны листья ракитовые
В стекло неподвижных вод.

Остановилась вселенная,
Сквозя в прозрачнейшей мгле,
Столь тихая, столь совершенная,
Как никогда на земле.

Разлив совершенного голоса
Один несется из чащ,
Как ветер, ласкающий волосы,
Ликующ, плавен, звенящ.

Поет за небо безгласное,
За струи в сонном пруду,
За эту березу прекрасную,
За каждый стебель в саду.

Поет, ни о чем не сетуя
И ни о чем не прося,
Лишь славя ночь предрассветную
За всех, за все и за вся.

И мы сливаемся, слушая,
В один безмолвный хорал,
Чтоб голос над старою грушею
До солнца не замирал.

1950

* * *

Не ради звонкой красоты,
Как, может быть, подумал ты,
Не блеска ради
Ввожу я новые слова,
Так странно зримые сперва
Вот здесь, в тетради.

В словах испытанных — уют.
Но в старые мехи не льют
Вина младого.
Понятьям новым — новый знак
Обязан дать поэт и маг,
Искатель слова.

Нет, я из книг их не беру.
Они подсказаны перу
Златыми снами.
Они — оттуда, где звенят
Миры других координат,
Соседних с нами.

1955

* * *

Если вслушиваешься в голоса ветров,
в думы людей и лесных великанов,
тихо рождается гармоничное эхо
в глубине сердца.

Это — не свет, не звук. Это —
мир, прошедший сквозь тебя и преображенный;
мир, рождающийся в миллионах сердец,
рассудком неуловимый;
лоно религии, еще не нашедшей
ни заповедей, ни пророков.

Время! не медли!

Будут пророки,
воздвигнутся храмы,
необычайнейшие,
чем все, что было...

Время! не медли!

Он будет зовущим, этот завет,
как пики бора на склоне неба;
мудрым, как вековые камни великих народов;
устремленным, как белые башни;
добрым, как тепло очага;
многолюдным,
как праздничный гул стадионов,
и веселым, как детские игры.

Время! не медли!

Он будет прекрасным,
как вишни, осыпанные весенним цветом.

Время! не медли!

1950

БОСИКОМ

ЗВЕЗДА СКИТАНИЙ

Из шумных, шустрых, пестрых слов
Мне дух щемит и жжет, как зов,
Одно: бродяга.
В нем — тракты, станции, полынь,
В нем ветер, летняя теплынь,
Костры да фляга;

Следы зверей, следы людей,
Тугие полосы дождей
Над дальним бором,
Заря на сене, ночь в стогу,
Посвистыванье на лугу
С пернатым хором.

Быть может, людям слово то,
В речь обыдённую влито,
Напомнит даже
Совсем другое: тайный лаз,
Угрюмый взгляд свинцовых глаз,
Нож, ругань, кражи...

Ну что ж! В бродяжье божество
Любовно верить никого
Я не неволю,
Слоняюсь только да слежу
Сорок, стрижей, ручей, межу,
Курганы в поле.

Безделье? Нет. Труд был вчера
И будет после. Но пора
Понять, что праздник
Есть тоже наш священный долг:
В нем безотчетно знает толк
Любой проказник.

Да и потом, какой ханжа
Прикажет верить, будто ржа
Наш разум гложет,
Когда с душой природы связь
Мы углубляем, развалясь
На хвойном ложе?

Вот и валяюсь в пышном мху,
Рад то напеву, то стиху,
Игре их граней,
И в чудных странах бытия
Мне путеводна лишь моя
Звезда скитаний.

1955

* * *

Ах, как весело разуться в день весенний!
Здравствуй, милая, прохладная земля,
Перелески просветленные без тени
И лужайки без травы и щавеля.

Колко-серые, как руки замарашки,
Пятна снега рассыпаются кругом,
И записано в чернеющем овражке,
Как бежали тут ребята босиком.

В чащу бора — затеряться без оглядки
В тихошумной зеленеющей толпе,
Мягко топают смеющиеся пятки
По упругой подсыхающей тропе.

А земля-то — что за умница!— такая
Вся насыщенная радостью живой,
Влажно-нежная, студеная, нагая,
С тихо плещущею в лужах синевой...

Ноздри дышат благовонием дороги,
И корней, и перегноя, и травы,
И — всю жизнь вы проморгаете в берлоге,
Если этого не чувствовали вы!

1950

* * *

И воздух, поющий ветрами,
И тихо щебечущий колос,
И воды, и свищущий пламень
Имеют свой явственный голос.
Но чем ты уловишь созвучья
Лужаек, где травы и сучья,
Все выгибы, все переливы
Беззвучной земли молчаливой?

Язык ее смутен, как пятна,
Уста ее жаркие немы;
Лишь чуткому телу понятны
И песни ее и поэмы.
Щекотным валёжником в чаще,
Дорогою мягко-пылящей,
На стёжке — листом перепрелым
Она говорит с твоим телом.

И слышит оно, замирая
От радости и наслажденья,
В ней мощь первозданного рая
И вечного сердца биенье.
Она то сурово неволит,
То жарко целует и холит,
То нежит тепло и упруго,—
И матерь твоя, и супруга.

Ее молчаливые волны,
Напевы ее и сказанья
Вливаются, душу наполня,
Лишь в узкую щель осязанья.
Вкушай же ее откровенье
Сквозь таинство прикосновенья,—
Что скрыто за влагой и сушей —
Стопами прозревшими слушай.

1955

* * *

Вот блаженство — ранью заревою
Выходить в дорогу босиком!
Тонкое покалыванье хвои
Увлажненным сменится песком.

Часом позже — сушью или влагой
Будут спорить глина и листва,
Жесткий щебень, осыпи оврага,
Гладкая, прохладная трава.

Если поле утреннее сухо,
Что сравнится с пылью золотой?
Легче шелка, мягче мха и пуха
В колеях ее нагретый слой.

Плотным днем, от зноя онемелым,
Бросься в яр прозрачный... и когда
Плеском струй у пламенного тела
Запоет прекрасная вода,

И когда, языческим причастьем
Просветлен, вернешься на песок —
Ног твоих коснется тонким счастьем
Стебелиный каждый голосок.

Если же вечерние долины
Изнемогут в млеющей росе
И туман, блаженный и невинный,
Зачудит на сжатой полосе —

Новый дух польется по дороге;
Кружится от неги голова,
Каждой капле радуются ноги,
Как листы, и корни, и трава.

Но еще пленительней — во мраке
Пробираться узкою тропой,
Ощущая дремлющие знаки
Естества — лишь слухом и стопой.

Если мраком выключено зренье,
Осязаньем слушать норови
Матерь-землю в медленном биенье
Сокровенной жизни и любви.

Не поранит бережный шиповник,
Не ужалит умная змея,
Если ты — наперсник и любовник
Первозданной силы бытия.

1955

* * *

Как участь эта легка:
Уйти от родного порога!..
Дорога! птица-дорога!
Волнующиеся облака!

Как мед я пью этот жребий:
Воительницу-грозу,
Склоненную в зыбь лозу
И радугу в вечном небе.

Мелькают межи, столбы,
Деревни у перелога...
Дорога! песня-дорога!
Песня моей судьбы!

Как не любить — телеги,
Поскрипывающие в колее,
Неспешную речь в жилье,
Гул хвой на лесном ночлеге?..

Лети же, светла, легка,
На зов голубого рога,
Дорога! птица-дорога!
Кочующие облака!

1955

НА ПЕРЕВОЗЕ

Если мы втроем, вчетвером
Входим путниками на паром —
Хорошо, в закатном покое
Озирая зеркальный плес,
Загрубевшею брать рукою
Влажно-твердый, упругий трос.

Прикасались к нему весь день
С полустанков, сел, деревень,
Каждый мальчик, всякий прохожий:
Бабы, девушки, учителя,
Старики, чью плотную кожу
Знает сызмальства мать-земля.

Знаком связи народной стал
Этот твердый, тугой металл;
Через эти пряди витые
Волю тысяч вплетали в круг
Сколько ласковых рук России —
Властных, темных, горячих рук!..

Воды искрятся серебром.
Мерно двигается паром.
И отрадно вливать усилья
В мощь неведомой мне толпы...
В этом — родина. В этом — крылья.
В этом — счастье моей тропы.

1950—1955 гг.

ПТИЧКИ

Я берегу
— Кук-ку!..
На берегу
— Кук-ку!..
И над рекой
сон хвой
и трав.

И на суку
— Кук-ку!..
Все стерегу
— Кук-ку!..
Заветный бор
от всех
потрав.

А я — в сосну
— Тук-тук!
И не засну
— Тук-тук!
Пока сосна
сундук
с добром,

Коль под корой
скрыт прок,
И глупый рой —
прыг-скок
На мой сигнал,
мой стук,
мой гром.

Я в тростниках
— Вью-вью!
Я в родниках
— Пью-пью!
Я в лозняках
лью трель
мою.

Сев на корчу́,
дом свив,
Прощебечу
— Жив-жив!
Пою, свищу —
Чив-чив,
чи-ю!

1955

* * *

Сколько рек в тиши лесного края
Катится, туманами дыша,
И у каждой есть и плоть живая,
И неповторимая душа!

На исходе тягостного жара,
Вековую чащу осветя,
Безымянка звонкая бежала
И резвилась с солнцем, как дитя.

Вся листвою дружеской укрыта,
В шелестящем, шепчущем жилье
Пряталась она, и от ракиты
Зайчики играли на струе.

Как светло мне, как легко и щедро
Засмеялась ты и позвала!
В плавные, качающие недра
Жаждущее тело приняла.

Пот горячий с тела омывая,
Беззаботна, радостно-тиха,
Ты душой своей, как реки рая,
Омывала душу от греха.

И когда на отмель у разводин
Я прилег, песком озолочен,
Дух был чист, блистающ и свободен,
Как вначале, на заре времен.

Сколько рек в тиши лесного края
Катится, туманами дыша,—
Как таинственна их плоть живая,
Как добра их детская душа!

1950—1955

В ЗНОЙНЫЙ ДЕНЬ

Неистощим, беспощаден
Всепроникающий зной,
И путь, мимо круч и впадин,
Слепит своей желтизной.

Но тело все еще просит
Идти по полям, идти
Изгибами — в ржи и просе
Змеящегося пути.

Люблю это жадное пламя,
Его всесильную власть
Над нами, как над цветами,
И ярость его, и страсть;

Люблю, когда молит тело
Простого глотка воды...
...И вот вдали засинело:
Речушка, плетни, сады,

И белая церковь глядится
Из кленов и лип — сюда,
Как белоснежная птица
Из мягкой листвы гнезда.

1935

У ЦЕРКОВНОЙ ОГРАДЫ

А еще я люблю их —
Прутья старых оград у церквей,
Если в медленных струях
Нежит их полевой тиховей.

Здесь бурьян и крапива
Да лиловые шапки репья,
И всегда терпелива
В раскаленной пыли колея.

Ноги ноют от зноя,
От огня многоверстных дорог...
Ляг, ветришка, со мною
У спокойной ограды в тенек.

Вон у бедной могилы
Исполинская толщь лопуха
Дышит кроткою силой,
Молчаливою думой тиха.

Люди, люди! Напрасно
Вы смеетесь над этим листом:
Его жилки — прекрасны,
Духи поля радели о том.

Убеленные пылью,
Эти листья над прахом взошли,
Как смиренные крылья
Старых кладбищ и вечной земли.

И отрадно мне знанье,
Что мечта моя будет в стихе,
Дух — в небесном скитанье,
Плоть же — в мирном, седом лопухе.

1950

* * *

А. А.

Тихо-тихо плыло солнышко.
Я вздремнул на мураве...
А поблизости, у колышка,
На потоптанной траве
Пасся глупенький теленочек,
Несмышленыш и миленочек,
А уже привязан здесь...
Длинноногий, рыжий весь.

Он доверчиво поглядывал,
Звал, просил и клянчил: му!
Чем-то (чем — я не угадывал)
Я понравился ему.
Так манит ребят пирожное...
И погладил осторожно я
Раз, другой и третий раз
Шерстку нежную у глаз.

Ах, глаза! Какие яхонты
Могут слать подобный свет!
Исходил бы все края хоть ты,
А таких каменьев нет.
Как звезда за темной чащею,
В них светилась настоящая
(Друг мой, верь, не прекословь)
Возникавшая любовь.

И, присев в траву на корточки,
Я почувствовал тотчас
Тыканье шершавой мордочки
То у шеи, то у глаз.
Если же я медлил с ласками,
Он, как мягкими салазками,
Гладил руки, пальцы ног,
Точно мой родной сынок.

Я не знаю: псы ли, кони ли
Понимают так людей,
Только мы друг друга поняли
Без грамматик, без затей.
И когда в дорогу дальнюю
Уходил я, мне вдогон
Слал мумуканье печальное,
Точно всхлипыванье, он.

1955

ЛИВЕНЬ

Вдали — как из ведра:
Не облако — гора!..
И стала ниже градусом
Испуганно жара.
Округлым серебром
Раскатываясь, гром
Овеял дрожью радостной
Опушку и паром.

С разъявшихся высот
Весомые, как плод,
Хлестнули капли первые
Шоссе и огород.
И струй гудящих рать
Асфальтовую гладь
Заторопилась перлами
И звоном покрывать.

Галдеж на берегу,
Смятенье на лугу —
Визжат, полуутоплые...
Да я-то не бегу:
Долой рубаху! Лей
На поле, на людей,
На это тело теплое
Великий Чародей!

Поток из рвов и ям
Бурлит по колеям;
Как весело, как весело —
По лужам, по ручьям!..
Ни воздуха, ни струй:
Все слито в поцелуй,
В бушующее месиво...
Земля моя, ликуй!

Хлябь вязкую мешу,
Кричу, пою, машу,
То шлепаю, то шаркаю —

Как бешеный пляшу:
Сходящий с высоты
На травы, на листы,
Ласкай мне тело жаркое
И жадное, как ты!..

А, начисто побрит,
Какой-то сибарит
С испугом из калиточки
На дикого глядит.
Успеть бы верно мог
Я спрятаться в домок,
Но счастлив, что до ниточки,
До ниточки промок.

1955

СЛЕДЫ

И всегда я, всегда готов
После летних ливней косых
Попадать в очертанья следов —
Незнакомых, мягких, босых.

Вся дорога — строфы листа,
Не прочитанные никогда.
Эта грязь молодая — чиста,
Это — лишь земля да вода.

Вот, читаю, как брел по ней
Бородач, под хмельком чуть-чуть;
Как ватага шумных парней
К полустанку держала путь;

Как несли полдневный удой
Бабы с выгона в свой колхоз;
Как, свистя, пастух молодой
Волочащийся бич пронес;

Как бежали мальчишки в закут
Под дождем... и — радость земли —
Голосистые девушки тут,
Распевая, из бора шли.

Отпечатались на грязи
Все пять пальчиков — там и здесь,
И следами, вдали, вблизи,
Влажный грунт изузорен весь.

Да: земля — это ткань холста.
В ней есть нить моего следа.
Эта мягкая грязь — чиста:
Это лишь земля да вода.

1950—1955

В ПУТИ

Никчемных встреч, назойливых расспросов
Я не терплю. О нет, не оттого,
Что речь свернет на трактор, вспашку, просо...
Но кто поймет бесцельный путь? Кого

Мне убедить, что и в судьбе бродяжей —
Не меньший труд, чем труд на полосе?
Ведь тут, в России, в путь влекомы все
Других забот нерасторжимой пряжей.

Но как-то раз мальчишка озорной,
Товарищ мой в купанье у Смилижа,
Взглянул в лицо настороженней, ближе
И, вдруг притихнув, повернул за мной.

Мы молча шли, бесшумно, друг за другом,
Отава луга вся была в росе,
Июльский вечер умолкал над лугом
В своей родной, своей простой красе.

А он молчал, на мой мешок уставясь,
И в легком блеске смелых светлых глаз
Я прочитал томительную зависть —
Стремленье вдаль, братающее нас.

Вода реки с волос смешно и скоро
Сбегала по коричневым вискам...
И за умнейший диспут не отдам
Ту простоту и свежесть разговора.

Благослови, бездомная судьба,
На путь свободный будущего друга!
Веди с порога! оторви от плуга!
Коснись крылом мужающего лба!

Когда-нибудь на золотом рассвете
Простой мешок ему на плечи кинь,
Пропой ветрами всех твоих пустынь
Бродяжью песнь — сладчайшую на свете!..

Я уходил,— и дни мои текли,
Уча любить все звуки жизни стройной,
Прислушиваться, как в деревне знойной
Скрипят колодезные журавли

И как шмели гудят в траве погоста,
Где мальвы желтые и бузина,
Где дремлют те, кто прожил жизнь так просто,
Что только рай хранит их имена.

1955

НАД ПРИСТАНЬЮ

Плывя к закату, перистое облако
        Зажглось в луче,
И девять пробил дребезжащий колокол
        На каланче.

Уж крик над пристанью — «айда, подтаскивай»—
        Над гладью смолк.
Как молоко парное — воздух ласковый,
        А пыль — как шелк.

В село вошли рогатые, безрогие,
        Бредут, мычат...
Бегут, бегут ребята темноногие,
        «Сюда!»— кричат.

Круг стариков гуторит на завалинке
        Под сенью верб,
Не замечая, как всплывает маленький
        Жемчужный серп.

Несет полынью от степной околицы,
        С дворов — скотом,
И уж, наверно, где-то в хатах молятся,
        Но кто? о чем?

1935

НОЧЛЕГ

Туман в ложбинах течет, как пена,
Но ток нагретый я в поле пью.
На жниве колкой — охапка сена,
Ночлег беспечный в родном краю.

Вон там, за поймой, синéй чем море,
Лесá простерли свои ковры...
Земля хранит еще, мягко споря,
Накал прощальный дневной жары.

Утихла пыль над пустой дорогой,
И гул на гумнах умолк в селе,
И сон струится луной двурогой,
Светясь и зыблясь, к моей земле.

И все туманней в ночных равнинах
Я различаю — стога, лозу
И путь, пройденный в лесах долинных,
В болотах, в дебрях,— вон там, внизу.

За путь бесцельный, за мир блаженный,
За дни, прозрачней хрустальных чаш,
За сумрак лунный, покой бесценный
Благодарю Тебя, Отче наш.

1935

ANDANTE[1]

Не поторапливаясь, ухожу к перевозу
Утренней зарослью у подошвы горы,
Сквозь одурманивающие ароматами лозы,
Брусникою пахнущие от вседневной жары.

Как ослепительны эти молнии зноя
На покачивающейся незаметно воде,
В этом, исполненном света, покое,
В дощатой, поскрипывающей ладье!

Тихо оглядываешься — и понимаешь
Всю неохватываемость этих пространств,
Где аир, лилии, медуницы и маеж
Чудесней всех празднований, всех убранств.

О, я расколдованнее всех свободных и нищих!
Зачем мне сокровища? и что мне года?
Пускай перекатывается по нагретому днищу
Беспечно расплескивающаяся вода,

Мóя подошвы мне и загорелые пальцы,
Блики отбрасывая на ресницы и лоб...
О, трижды благословеннейшая участь скитальца!
Пленительнейшая из человеческих троп!

1935

---

[1] Andante *(итал.)* — музыкальное произведение в медленном темпе.

* * *

Осень! Свобода!.. Сухого жнивья кругозор.
Осень... Лесов обнажившийся остов...
Тешатся ветры крапивою мертвых погостов
И опаздывают
сроки зорь.

Мерзлой зарей из-под низкого лба деревень
Хмурый огонь промелькнет в притаившихся хатах...
Солнце-Антар леденеет в зловещих закатах,
И, бездомный,
отходит день.

Тракторы смолки. Ни песен, ни звона косы.
Черная жидкая грязь на бродяжьих дорогах...
Дети играют у теплых домашних порогов,
И, продрогшие,
воют псы.

Родина! родина! Осень твоя холодна —
Трактом пустынным брести через села без цели,
Стынуть под хлопьями ранней октябрьской метели...
Я один,
как и ты одна.

1937

ДУХИ СНЕГОВ

Бог ведает, чем совершенны
Блаженные духи снегов,
Но именем странным — *Нивенна* —
Их мир я означить готов.

К священной игре они склонны,
И краток, быть может, их век,
Но станет земля благовонна,
Когда опускается снег.

Кругом и светло, и бесшумно
От радостной их кутерьмы,
И все, от индейца до гунна,
Любили их близость, как мы.

Страна их прозрачна, нетленна
И к нам благосклонна, как рай.
Нивенна — то имя! Нивенна!
Запомни, — люби,— разгадай!

1955

* * *

Вот бродяжье мое полугодье
Завершается в снежной мгле.
Не вмещает память угодий,
Мной исхоженных на земле.

Дни, когда так чутко встречала
Кожа почву и всякий след —
Это было только начало,
Как влюбленность в шестнадцать лет.

И, привыкнув к прохладе росной,
Знобким заморозкам и льду,
Я и по снегу шляюсь просто,
И толченым стеклом иду.

Не жених в гостях у невесты,
А хозяин в родном гнезде,
Ставлю ногу в любое место,
Потому что мой дом — везде.

Шутки прочь. Об этом твержу я,
Зная прочно: есть правда чувств,
Осужденных нами ошую,
Исключенных из всех искусств.

Но сквозь них, если строй сознанья
Вхож для радости и певуч,
Лад творящегося мирозданья
Будет литься, как звук и луч.

Много призван вместить ты, много,
Прост, как голубь, и мудр, как змий,
Чтоб ложилась твоя дорога
В чистоте и в любви стихий.

И не косной, глухой завесой
Станет зыблющееся вещество,
Но лучистой, звенящей мессой,
Танцем духов у ног Его.

1950

ПРИЛОЖЕНИЕ

РОЗА МИРА

Фрагменты

ДАР ВЕСТНИЧЕСТВА

...По мере того как церковь утрачивала значение духовной водительницы общества, выдвигалась новая инстанция, на которую перелагался этот долг и которая, в лице крупнейших своих представителей, этот долг отчетливо сознавала. Инстанция эта — вестничество.

Вестник — это тот, кто, будучи вдохновляем даймоном, дает людям почувствовать сквозь образы искусства в широком смысле этого слова высшую правду и свет, льющиеся из иных миров. Пророчество и вестничество — понятия близкие, но не совпадающие. Вестник действует только через искусство; пророк может осуществлять свою миссию и другими путями — через устное проповедничество, через религиозную философию, даже через образ всей своей жизни. С другой стороны, понятие вестничества близко к понятию художественной гениальности, но не совпадает также и с ним. Гениальность есть высшая степень художественной одаренности. И большинство гениев были в то же время вестниками — в большей или меньшей степени,— но, однако, далеко не все. Кроме того, многие вестники обладали не художественной гениальностью, а только талантом.

Столетие, протекшее от Отечественной войны до великой Революции, было в полном смысле слова веком художественных гениев. Каждый из них, в особенности гении литературы, был властителем дум целых поколений, на каждого общество смотрело как на учителя жизни. Колоссально возросшая благодаря им воспитательная и учительная роль литературы выражалась, конечно, и в деятельности множества талантов; влияние некоторых из них становилось даже интенсивнее и шире, чем влияние их гениальных современников. С шестидесятых годов ясно определился даже многозначительный факт, совершенно неосознанный, однако, обществом: влияние гениев и влияние талантов стали, в некотором очень глубоком смысле, противостоять друг другу. Художественные гении того времени — Тютчев, Лев Толстой, Достоевский, Чехов, Мусоргский, Чайковский, Суриков, позднее Врубель и Блок — не выдвигая никаких социальных и политических программ, способных удовлетворить массовые запросы эпохи, увлекали разум, сердце и

волю ведóмых не по горизонтали общественных преобразований, а по вертикали глубин и высот духовности; они раскрывали пространства внутреннего мира и в них указывали на незыблемую вертикальную ось. Таланты же, по крайней мере наиболее влиятельные из них, все определеннее и определеннее ставили перед сознанием поколений проблемы социального и политического действия. Это были Герцен, Некрасов, Чернышевский, Писарев, все шестидесятники, Глеб Успенский, Короленко, Михайловский, Горький. Таланты-вестники, как Лесков или Алексей Константинович Толстой, оставались изолированными единицами; они, так сказать, гребли против течения, не встречая среди современников ни должного понимания, ни справедливой оценки.

Подобно тому как Иоанн Грозный, при всем масштабе своей личности, должен быть признан фигурой огромной, но не великой, ибо лишен одного из признаков истинного величия — великодушия, точно так же целый ряд художественных деятелей, к которым многие из нас применяют эпитет гения, не являются и никогда не являлись вестниками. Ибо их художественная деятельность лишена одного из основных признаков вестничества: чувства, что ими и через них говорит некая высшая, чем они сами, и вне них пребывающая инстанция. Такими именами богата, например, литература французская, а у нас можно назвать двух-трех деятелей эпохи революционного подъема: Горького, Маяковского. Можно спорить о гениальности этих писателей, но вряд ли кто-нибудь усмотрел бы в них вестников высшей реальности.

...Все это поясняет отличие понятия художественной гениальности от понятия вестничества. Мы видим при этом талантливых художников, не претендовавших на гениальное совершенство своих творений, но возвещавших ими о таких высотах и глубинах потусторонних сфер, до которых не в силах были досягнуть и многие гении. С другой стороны, многие деятели, твердо уверенные в своей гениальности, являются только носителями таланта. Выдает их один незаметный, но неопровержимый признак: они ощущают свой творческий процесс не проявлением какого-либо сверхличного начала, но именно своей, только своей прерогативой, даже заслугой, подобно тому как атлет ощущает силу своих мускулов, принадлежащей только ему и только его веления исполняющей. Такие претенденты на гениальность бывают хвастливы и склонны к прослав-

лению самих себя. В начале XX века, например, в русской поэзии то и дело можно было встретить высокопарные декларации собственной гениальности.

— Я — изысканность русской медлительной речи,
Предо мною другие поэты — предтечи,—

восклицал один. Другой, перефразируя «Monumentum» Горация, стер с постамента имя великого римлянина и буквами, падающими то вправо, то влево, то какофонически сталкивающимися между собой, начертал свое: «...и люди разных вкусов... все назовут меня: Валерий Брюсов».

— Я гений, Игорь Северянин,
Своей победой упоен,—

восторгался третий.

— Мой стих дойдет
через хребты веков
И через головы
поэтов и правительств,—

утверждал, подменяя возможное желаемым, четвертый.

Каждый из таких деклараторов убежден, что гениальность — качество, неотъемлемое от его личности, даже его достижение. Подобно подросткам, чувствующим себя сильнее своих сверстников, они кичливо напрягают изо всех сил свои поэтические бицепсы и с глубоким презрением, сверху вниз поглядывают на остальную детвору. Все это — таланты, ослепленные самими собой, мастера, создающие во имя свое, рабы самости: это не гении, а самозванцы гениальности. Подобно самозваным царям нашей истории, некоторым из них удавалось достичь литературного трона и продержаться на нем несколько лет, одному — даже около трех десятилетий. Но суд времени подвергал их каждый раз беспощадному развенчанию, потомство отводило этим именам подобающие им скромные места...

...Я был бы понят совершенно превратно, если бы кто-нибудь попытался из моих слов сделать тот вывод, что я будто бы подготавливаю читателя к тому, чтобы он не удивился требованию, которое я на следующих страницах предъявлю любому художнику: чтобы в его созданиях непременно сказывалась этическая тенденция, руководящая религиозно-нравственная идея. Прежде чем предъявлять какие-либо «требования», я забочусь о том, чтобы характеризовать не то, что должно быть, а то, что наличеству-

ет в действительности, как факт. Именно с этой целью я, вводя понятие вестничества, отграничиваю его от понятий гениальности и таланта. Смешно и дико было бы предъявлять ко всякому художнику требование: раз вестнику свойственно то-то, старайся быть таким же. Гениальность и талант сами по себе, не совмещенные с даром вестничества, являются, однако, тоже божественными дарами, но иначе вручаемыми и содержащими иные потенции...

...Что же до гениальности или таланта как таковых, они могут быть совершенно свободны от задания — возвещать и показывать сквозь магический кристалл искусства высшую реальность. Достаточно вспомнить Тициана или Рубенса, Бальзака или Мопассана. Не снимаются с них лишь требования этики общечеловеческой да условие — не закапывать свой дар в землю и не употреблять его во зло, то есть не растлевать духа. Только с такими требованиями и вправе мы подходить к оценке жизни и деятельности, скажем, Флобера или Уэллса, Маяковского или Есенина, Короленко или Горького, Репина или Венецианова, Даргомыжского или Лядова, Монферрана или Тона. Таким образом, этические требования, предъявляемые к таланту или гению,— требования общечеловеческого этического минимума.

...И, однако же, верно и то, что ни в одной литературе не проявилось так ярко, глубоко и трагично, как в русской, ощущение того духовного факта, что вестнику недостаточно быть великим художником. Вот в этом отношении русская литература действительно стоит особняком. Я пока не подвергаю этого обстоятельства никакой оценке, а лишь указываю на него, как на исторический факт. Не только наши гении, но и многие носители меньшей одаренности высказывали, каждый на свой лад, эту мысль. То она отливалась в форму требования гражданского, даже политического подвига: призыв этот звучит у Радищева, у Рылеева, у Герцена, у Некрасова, у шестидесятников, народников и т. д.— вплоть до большевиков. То — художественную деятельность совмещали или пытались совместить с проповедничеством православия: началось это с славянофилов и Гоголя и завершилось Достоевским. То, наконец, художники слова предчувствовали, искали и находили либо, напротив, изнемогали в блужданиях по пустыне

за высшим синтезом религиозно-этического и художественного служения: не говоря уже о том же Гоголе и Льве Толстом, вспомним и задумаемся об Алексее Толстом, Гаршине, Владимире Соловьеве, Блоке, Вячеславе Иванове; вспомним о прорывах космического сознания, отображенных в творчестве Ломоносова, Державина, Тютчева; найдем в себе достаточно зоркости, чтобы усмотреть готовность сделать первый шаг по духовному пути в рано оборвавшихся биографиях Грибоедова, Пушкина, Лермонтова; в образах лесковских праведников и в горячей вере этого живописца религиозного делания; обратим внимание на глубокое чувство и понимание Христа у Леонида Андреева, которое он пытался выразить в ряде произведений, и в первую очередь — в своем поразительном «Иуде Искариоте»,— чувство, все время боровшееся в душе этого писателя с пониманием темной, демонической природы мирового закона, причем эта последняя идея, столь глубокая, какими бывают только идеи вестников, нашла в драме «Жизнь Человека» выражение настолько отчетливое, насколько позволяли условия эпохи и художественный, а не философский и не метаисторический склад души этого писателя. Проследим далее все ту же вестническую тенденцию, хотя бы и искаженную, в антропософском учительстве Андрея Белого; в бредовых идеях Хлебникова о преображении Земли и в его сумасшедших мечтах — стать правителем земного шара для этой цели; в гражданском подвиге уходившего все глубже в религиозность Гумилева; в высокой попытке Максимилиана Волошина — определить свою личную линию художника и современника революций и великих войн религиозно-этической заповедью: «В дни революции быть человеком, а не гражданином».

Недаром же великая русская литература началась с оды «Бог». Не случайно на первых же ее страницах пламенеют потрясающие строфы пушкинского «Пророка»! Общепринятое толкование этого стихотворения сводится к тому, что здесь будто бы изображен идеальный образ поэта вообще; но такая интерпретация основана на ошибочном смешении понятий вестника, пророка и художественного гения. Не о гении, вообще не о собственнике высшего дара художественной одаренности, даже не о носителе дара вестничества гремит этот духовидческий стих, но именно об идеальном образе *пророка*...

...Если бы я посвятил характеристике миссий и судеб каждого из русских вестников, даже ограничив себя при этом границами искусства слова, хотя бы по одной главе, получилась бы отдельная, свыше двадцати глав содержащая работа. Я вынужден поэтому обойтись минимальным числом характеристик, неразвернутых и совершенно афористических, и суждения мои об этих деятелях неизбежно будут иметь вид сообщений, почти лишенных аргументации. Я принужден миновать, не останавливаясь, эпохи Ломоносова, Державина и Карамзина и начать группу метаисторических характеристик с того, чье имя мы издавна привыкли связывать с началом золотого века нашей литературы.

О Пушкине, как это всякому известно, существуют горы исследований, высказывались тысячи суждений. Да позволено мне будет присовокупить к этим характеристикам еще одну, сделанную под таким углом зрения, какой до сих пор не учитывался: под углом зрения метаистории.

Под этим углом зрения миссия Пушкина заключается в том, что, создав емкий, гибкий, богатый и чрезвычайно выразительный литературный язык и великолепный стих, он этим дал решительный толчок процессу развития всенародной любви к языку, к слову, к стиху и к самой культуре языка, как основного средства человеческого общения; вооружил следовавших за ним во времени творцов этим совершенным средством для выражения любых идей и чувств; разработал ряд необходимых для этого новых жанров и сам возглавил процесс художественного выражения этих идей и образов.

Какие же это идеи и какие именно образы?

Во-первых, это — идеи, связанные с задачей разоблачения демонической природы государства и с укреплением комплекса освободительно-моральных устремлений отдельной души и всей нации. Сюда относится идея о непрощаемости преступления, совершенного верховной властью, то есть сознание несостоятельности той власти, которая основана на нарушении этических норм (ода «Вольность» и особенно «Борис Годунов»). Сюда же относится идея неразрешимости ни в рассудочно-логическом плане, ни в плане гуманистической совести противоречий между личностью и государством, между личностью и демонизированными зако-

нами мира («Медный Всадник»). С этим же связана и идея противостояния между низшей, самостной свободой личности и общественной гармонией («Цыганы»). Эти идеи, воздействуя на сознание множества людей, приобщавшихся литературе, подготавливали его в конечном счете к идее-выводу о примате этики над государственным началом, то есть о желательности — хотя и утопичности для настоящего времени — установления высоко-этического контролирующего и направляющего начала над аморальным государством.

Второй цикл идей был связан с задачей изменения отношений христианского человечества к Природе. В основном это была идея-переживание Природы, как начала объективно-прекрасного, ни в коем случае не осужденного и не враждебного, хотя и обладающего такою стороной, которая принуждает зачастую воспринимать Природу как начало равнодушное и безучастное к человеку. При этом, однако, ощущение ее безучастности не препятствовало переживанию Природы, как начала субъективно-любимого. Эти переживания, нашедшие свое выражение в большом количестве первоклассных по форме стихотворений и отдельных мест в поэмах, подготавливали сознание к выводу о возможности какого-то — пока еще смутно мечтаемого — нового вида отношения и общения с Природой: радостно-чувственного, дружественного и, в то же время, ни в коей мере не греховного.

Это переплеталось с новым восприятием самого процесса жизни в ее повседневном облике: в обнаружении элементов поэзии и красоты и в озарении ими низших, будничных слоев человеческой жизни. Все это, как и предыдущее, шло вразрез с заветами аскетического периода и прокладывало дорогу к пониманию далеких грядущих задач Розы Мира — задач пронизывания духовностью и религиозно-поэтической стихией всех сторон жизни...

...Пушкин впервые поставил во весь рост специфически русский, а в грядущем — мировой вопрос о художнике, как о вестнике высшей реальности, и об идеальном образе пророка, как о конечном долженствовании вестника. Конечно, он сам не мог сознавать отчетливо, что его интуиция этим расторгает круг конкретно осуществимого в XIX веке и прорывается к той грядущей эпохе, когда Роза Мира станет обретать в историческом слое свою плоть.

И, наконец, в ряде своих произведений («Капитанская дочка», «Повести Белкина», «Пиковая Дама», «Пир во время

чумы», «Моцарт и Сальери» и многие другие) Пушкин поставил немало более частных психологических, моральных и культурных проблем, подхваченных и развитых его продолжателями.

Само собой разумеется, мысли, высказанные на этих вот страницах, ни в коем случае не претендуют на то, чтобы сложиться в исчерпывающую метаисторическую характеристику Пушкина. Это лишь первый опыт в данном направлении, и я не сомневаюсь, что работы последующих поколений над раскрытием метаисторического значения Пушкина полностью затмят этот бедный черновой набросок.

Многими исследователями отмечалось уже и раньше, что гармоничность Пушкина — явление иллюзорное, что в действительности он представлял собою личность, исполненную противоречий и совершавшую сложный и излучистый путь развития, хотя направление этого пути лежало, несомненно, ко все большей гармонизации. Это, конечно, так. Но не менее важно то обстоятельство, что, несмотря на эту противоречивость, вопреки, так сказать, фактам, Пушкин был и остается в представлении миллионов людей носителем именно гармонического слияния поэзии и жизни. И эта иллюзия тоже имеет свой положительный смысл (как и тысячи других иллюзий в истории культуры): этот солнечный бог нашего Парнаса, проходящий, то смеясь, то созерцая, то играя, то скорбя, то молясь у самых истоков русской поэзии, этим самым сближает, в сознании множества, стихии поэзии и жизни, разрушает преграду, отделявшую человеческие будни, жизнь обыкновенных людей, от сферы поэтических звучаний, торжественных, заоблачных и бесплотных.

Каждая строка Пушкина вызывает у нас, русских, столько культурных и исторических ассоциаций, для нас драгоценных и священных, что мы легко поддаемся соблазну даже преувеличивать его значение, усматривать мировые масштабы там, где в действительности наличествуют масштабы национального гения и вестника. Из личных бесед и встреч с иностранцами я вынес совершенно твердое убеждение, уже и раньше складывавшееся у меня под впечатлением отзывов о Пушкине за рубежом: иностранцы, будучи лишены присущих нам ассоциаций и воспринимая тексты Пушкина в их, так сказать, оголенном виде, никак не могут понять, почему имя Пушкина окружено в России таким, почти культовым, почитанием. Возможно, что, если бы полнокачественные переводы его произведений появились на европейских языках еще при его жизни, они встретили бы более горячий отклик. Но переводы опоздали, и теперь уже

не приходится надеяться, чтобы заложенный в поэзии Пушкина запас идей и образов или тем более его лирические напевы взволновали бы когда-нибудь по-настоящему культурную среду других народов. Характерно, что иностранцы любой национальности, с которыми мне приходилось разговаривать, будь то немец или японец, поляк или араб, заражаются эмоциональным звучанием и признают наличие мировых масштабов не у Пушкина, а у Лермонтова.

Но хотя, как мне кажется, Достоевский в своей знаменитой речи на открытии памятника Пушкину в Москве несколько преувеличил именно интернациональную сторону пушкинского творчества, тем не менее он и Жуковский были первыми на Руси поэтами, раздвинувшими поэтическую тематику до всемирных границ не в том условном, ложно-классическом плане, как это делали Княжнин или Озеров, а в плане действительного, глубоко интуитивного, подлинного проникновения в дух других наций и культур. Естественно, что этот культурно-исторический факт нашел свое место именно в первой половине XIX века, когда в числе первостепенных задач, стоявших перед инвольтирующими силами демиурга, ясно определилась и задача культурного преодоления границ между народами, задача сближения с ними народа русского, задача развития способностей психологического и идейного проникновения в существо иных культур.

Разговоры о том, что Пушкин уже успел будто бы к 37 годам миновать зенит своего творчества и что, если бы он остался жив, от него уже нельзя было бы ожидать большего, чем работа по истории и культуре да нескольких второстепенных художественных произведений,— ни на чем не основаны и не имеют никакой цены. Никакой — кроме разве той, что они обнажают поверхностность психологического анализа со стороны таких судей, не умеющих отличить неизбежных в жизни любого художника периодов творческого замирания и накопления от фазы конечного оскудения творческого импульса.

Всенародное горе, охватившее Россию при известии о гибели поэта, показало, что миссия всенародного значения впервые в истории возложена не на родомысла, героя или подвижника, а на художественного гения, и что народ если этого и не осознал, то зато почувствовал совершенно отчетливо. Убийство гения было осознано всеми как величайшее из злодейств, и преступник был выброшен, как шлак, из пределов дотоле такой гостеприимной России. Бессильный гнев, возмущение и негодование можно испытать теперь, читая о благополучии и преуспеянии, которым обласкала Дантеса его дальнейшая судьба — судь-

ба самодовольного дельца и богача, сенатора Второй империи, не испытавшего и тени раскаяния в совершенном преступлении. Но для метаисторического созерцания слишком ясно, каким мимолетным было это пошлое торжество и каким жутким — посмертие Дантеса...

...Если смерть Пушкина была великим несчастьем для России, то смерть Лермонтова была уже настоящей катастрофой, и от этого удара не могло не дрогнуть творческое лоно не только российской, но и других метакультур.

Миссия Пушкина хотя и с трудом, и только частичная, но все же укладывается в человеческие понятия; по существу, она ясна.

Миссия Лермонтова — одна из глубочайших загадок нашей культуры.

С самых ранних лет — неотступное чувство собственного избранничества, какого-то исключительного долга, довлеющего над судьбой и душой; феноменально раннее развитие бушующего, раскаленного воображения и мощного, холодного ума; наднациональность психического строя при исконно русской стихийности чувств; пронизывающий насквозь человеческую душу суровый и зоркий взор; глубокая религиозность натуры, переключающая даже сомнение из плана философских суждений в план богоборческого бунта,— наследие древних воплощений этой монады в человечестве титанов; высшая степень художественной одаренности при строжайшей взыскательности к себе, понуждающей отбирать для публикации только шедевры из шедевров... Все это, сочетаясь в Лермонтове, укрепляет нашу уверенность в том, что гроза вблизи Пятигорска, заглушившая выстрел Мартынова, бушевала в этот час не в одном только Энрофе. Это, настигнутая общим Врагом, оборвалась недовершенной миссия того, кто должен был создать со временем нечто, превосходящее размерами и значением догадки нашего ума,— нечто и в самом деле титаническое...

...Если и не приоткрыть завесу над тайной миссии, не свершенной Лермонтовым, то хотя бы угадать ее направление может помочь метаисторическое созерцание и размышление о полярности его души.

Такое созерцание приведет к следующему выводу.

В личности и творчестве Лермонтова различаются, без особого усилия, две противоположных тенденции. Первая: линия богоборческая, обозначающаяся уже в детских его

стихах и поверхностным наблюдателям кажущаяся видоизменением модного байронизма. Если байронизм есть противопоставление свободной, гордой личности скованному цепями условностей и посредственности человеческому обществу, то, конечно, здесь налицо и байронизм. Но это — поверхность; глубинные же, подпочвенные слои этих проявлений в творческих путях обоих поэтов весьма различны. Бунт Байрона есть прежде всего бунт именно против общества. Образы Люцифера, Каина, Манфреда суть только литературные приемы, художественные маски. Носитель гениального поэтического дарования, Байрон, как человек, обладал скромным масштабом; никакого воплощения в человечестве титанов у него в прошлом не было. Истинному титану мечта о короне Греции показалась бы жалкой и мелкой детской игрой, а демонические позы, в которые любил становиться Байрон, вызвали бы у него лишь улыбку, если бы он не усмотрел в них действительных внушений демонических сил. А такие внушения были, и притом весьма настойчивые. Жгучее стремление к славе и к власти, постоянный маскарад в жизни, низменность итальянских приключений — все это указывает отнюдь не на титаническую природу этого человека, а только на его незащищенность от демонической инвольтации. А так как общая одаренность его натуры была огромна, а фон, на котором он действовал,— общество того времени — совершенно тускл, то маскарад этот мог ввести в заблуждение не только графиню Гвиччиоли, но и настоящего титана, каким был Гете. Байрон амистичен. Его творчество являет собою, в сущности, не что иное, как английский вариант того культурного явления, которое на континенте оформилось в идеологической революции энциклопедистов: революции скептического сознания против, как сказал бы Шпенглер, «великих форм древности». У Лермонтова же — его бунт против общества является не первичным, а производным: этот бунт вовсе не так последователен, упорен и глубок, как у Байрона, он не уводит поэта ни в добровольное изгнание, ни к очагам освободительных движений. Но зато лермонтовский Демон не литературный прием, не средство эпатировать аристократию или буржуазию, а попытка художественно выразить некий, глубочайший, с незапамятного времени несомый, опыт души.

...И, наряду с этой тенденцией, в глубине его стихов, с первых лет до последних, тихо струится, журча и поднимаясь порою до неповторимо-дивных звучаний, вторая струя: светлая, задушевная, теплая вера. Надо было утерять всякую способность к пониманию духовной реальнос-

ти до такой степени, как это случилось с русской критикой последнего столетия, чтобы не уразуметь черным по белому написанных, прямо в уши кричащих свидетельств об этой реальности в лермонтовских стихах. Надо окаменеть мыслью, чтобы не додуматься до того, что Ангел, несший его душу на землю и певший ту песнь, которой потом «заменить не могли ей скучные песни земли», есть не литературный прием, как это было бы у Байрона, а факт. Хотелось бы знать: в каком же ином поэтическом образе следовало бы ждать от гения и вестника свидетельств о *даймоне*, давно сопутствующем ему, как не именно в этом? — Нужно быть начисто лишенным религиозного слуха, чтобы не почувствовать всю подлинность и глубину его переживания, породившего лирический акафист «Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...», чтобы не уловить того музыкально-поэтического факта, что наиболее совершенные по своей небывалой поэтической музыкальности строфы Лермонтова говорят именно о второй реальности, просвечивающей сквозь зримую всем: «Ветка Палестины», «Русалка», изумительные строки о Востоке в «Споре», «Когда волнуется желтеющая нива», «На воздушном океане», «В полдневный жар в долине Дагестана», «Три пальмы», картины природы в «Мцыри», в «Демоне», и многое другое.

...Лермонтов был не «художественный гений вообще» и не только вестник,— он был русским художественным гением и русским вестником, и в качестве таковых он не мог удовлетвориться формулой «слова поэта суть дела его». Вся жизнь Михаила Юрьевича была, в сущности, мучительными поисками, к чему приложить разрывающую его силу. Университет, конечно, оказался тесен. Богемная жизнь литераторов-профессионалов того времени была безнадежно мелка. Представить себе Лермонтова замкнувшимся в семейном кругу, в личном благополучии, не может, я думаю, самая благонамеренная фантазия. Военная эпопея Кавказа увлекла было его своей романтической стороной, обогатила массой впечатлений, но после «Валерика» не приходится сомневаться, что и военная деятельность была осознана им как нечто, в корне чуждое тому, что он должен совершить в жизни. Но что же? Какой жизненный подвиг мог найти для себя человек такого размаха, такого круга идей, если бы его жизнь продлилась еще на 40 или 50 лет? Представить Лермонтова примкнувшего к революционному движению шестидесятых и семидесятых годов так же невозможно, как вообразить Толстого в преклонных годах участвующего в террористической организации или Достоевского — вступившим в социал-демократическую

партию. Поэтическое уединение в Тарханах? Но этого ли требовали его богатырские силы? Монастырь, скит? Действительно: ноша затвора была бы по плечу этому духовному атлету, на этом пути сила его могла бы найти для себя точку приложения. Но православное иночество несовместимо с художественным творчеством того типа, тех форм, которые оно приобрело в наши поздние времена, а от этого творчества Лермонтов, по-видимому, не отрекся бы никогда. Возможно, что этот титан так и не разрешил бы заданную ему задачу: слить художественное творчество с духовным деланием и подвигом жизни, превратиться из вестника в *пророка*. Но мне лично кажется более вероятным другое: если бы не разразилась пятигорская катастрофа, со временем русское общество оказалось бы зрителем такого — непредставимого для нас и неповторимого ни для кого — жизненного пути, который привел бы Лермонтова-старца к вершинам, где этика, религия и искусство сливаются в одно, где все блуждания и падения прошлого преодолены, осмыслены и послужили к обогащению духа и где мудрость, прозорливость и просветленное величие таковы, что все человечество взирает на этих владык горных вершин культуры с благоговением, любовью и с трепетом радости.

В каких созданиях художественного слова нашел бы свое выражение жизненный и духовный опыт? Лермонтов, как известно, замышлял роман-трилогию, первая часть которой должна была протекать в годы Пугачевского бунта, вторая — в эпоху декабристов, а третья — в 40-х годах. Но эту трилогию он завершил бы, вероятно, к сорокалетнему возрасту. А дальше?.. Появился ли бы цикл «романов идей»? Или эпопея-мистерия типа «Фауста»? Или возник бы новый, невиданный жанр?..

...Задача, которую предчувствовал Пушкин, которую разрешил бы, вероятно, к концу своей жизни Лермонтов, встала перед Гоголем с исключительной жгучестью.

Никакое сознательное движение вперед невозможно без осознания несовершенства той стадии, на которой находишься, и без понимания ее несовершенства.

Сделать так, чтобы Россия осознала все несовершенство своей стадии становления, всю неприглядность своей неозаренной жизни — это должен был сделать и сделал Гоголь. Ему был дан страшный дар — дар созерцания изнанки жизни, и другой дар: дар художественной гениальности, чтобы воплотить увиденное в объективно-пребывающих творениях, показуя его всем. Но трагедия Гоголя коренилась в том,

что он чувствовал в себе еще третий дар, нераскрытый, мучительно требовавший раскрытия, а он не знал — и не узнал — как раскрыть этот третий дар: дар вестничества миров восходящего ряда, дар проповедничества и учительства. При этом ему не удавалось осознать различия между вестничеством и пророчеством; ему казалось, что вестничество миров света через образы искусства непременно должно связываться с высотой этической жизни, с личной праведностью. Ограниченные, сравнительно с художественной гениальностью, способности его ума не позволили ему понять несоответствие между его задачей и формами православно-учительной деятельности, в которую он пытался ее облечь. Расшатанный и изъязвленный созерцанием чудищ «с унылыми лицами» психофизический состав его существа не выдержал столкновения между православным аскетизмом и требованиями художественного творчества, между чувством своего пророческого призвания и сознанием своего недостоинства, между измучившими его видениями инфернальных кругов и жгучею жаждою — возвещать и учить о мирах горних. А недостаточность — сравнительно с Лермонтовым — начала деятельно-волевого как бы загнала этот жизненный конфликт во внутреннее пространство души, лишила его необходимых выявлений вовне и придала колорит тайны последнему, решающему периоду его жизни.

...Эти три первых великих гения русской литературы вознесли и утвердили эту литературу на высоту духовной водительницы общества, учительницы жизни, указательницы идеалов и возвестительницы миров духовного света, приобрели ей всенародный авторитет и увенчали нимбом мученичества.

...Как художник-этик, пробуждающий наше сострадание к несчастным и падшим, Достоевский велик,— так велик, что этого одного было бы достаточно, чтобы упрочить за ним навсегда одно из первых мест в пантеоне всемирной литературы. Не менее, вероятно, велик он и как художник-вестник Вечно-Женственного; только искать веяние этого Начала нужно не в замутненных, душевно искалеченных, внутренно потерявшихся, снижаемых собственной истеричностью образах Настасьи Филипповны или Катерины Ивановны, а в том варианте общечеловеческой темы, на Западе разработанной в лице Маргариты и Сольвейг, который у нас создал именно Достоевский. История Сони Мармеладовой

и Раскольникова — это потрясающее свидетельство о том, как das Eiwig Weibliche ziet uns hinahn[1].

Но еще более велик Достоевский именно тем, что проводит нас, как Вергилий водил Данте, по самым темным, сокровенно греховным, самым неозаренным кручам, не оставляя ни одного уголка — неосвещенным, ни одного беса — притаившимся и спрятавшимся. В этом и состояла главная особенность его миссии: в просветлении духовным анализом самых темных и жутких слоев психики. В этом отношении он является не только великим, но, пожалуй, глубочайшим писателем всех времен. Дальше перед ним начиналось другое: пронизывание таким анализом и светлых слоев, но на этой дороге он едва успел сделать первые шаги.

...Сколько бы других, более частных задач ни выполнил в своем литературном творчестве Толстой, как бы велики ни были созданные им человеко-образы, сколько бы психологических, нравственных, культурных вопросов он ни ставил и ни пытался разрешить, но для метаисторика самое главное в том, что им осуществлена была могучая проповедь любви к миру и к жизни. Жизни — не в том, уплотненном, сниженном, ничем не просвеченном смысле, в каком понимали ее, скажем, Бальзак или Золя, а к жизни, сквозь формы и картины которой именно сквозит свет некоей, неопределимой и невыразимой, но безусловно высшей Правды. В одних случаях эта Правда будет сквозить через грандиозные исторические коллизии, через войны народов и пожары столиц, в других — через великолепную, полнокровную, полнострастную природу, в третьих — через индивидуальные искания человеческих душ, их любовь, их неутолимое стремление к добру, их духовную жажду и веру. Вот такую проповедь Толстой, как гений и вестник, и должен был осуществлять — и осуществлял — зачастую вопреки намерениям его логизирующего, слишком рассудочного ума; проповедь,— не тенденциозными тирадами, а художественными образами, насыщенными до предела именно любовью к миру, к жизни и к стоящей за ними высшей Правде,— образами, которые сильнее всех тирад и обязательнее всякой логики.

Он любил и, наслаждаясь этой любовью, учил любить все: цветущую ветку черемухи, обрызганную дождем — и трепещущие ноздри горячей лошади; песню косарей, идущих по

---

[1] Вечно женственное влечет нас ввысь *(нем.)*.

дороге и от звуков которой точно колышется сама земля — и крепкие икры бегающих мальчишек; бесприютную старость Карла Ивановича — и усадебные идиллии Левиных и Ростовых; духовную жажду, уводящую Пьера к масонам, а отца Сергия — в странничество,— и хруст снега под торопливыми шагами Сони, когда ее озаренное зимней луной лицо приближается к губам Николая со всей чистотой юности и красотой влюбленности; огненную молитву юродивого Гриши — и физическое наслаждение от скачки верхом и от купания, от питья ледяной воды из ручья и от бального наряда, от полевой работы и от чувства любви.

Но строфы пушкинского «Пророка» недаром выжглись раз и навсегда на первых страницах великой русской литературы. То самое, что привело Гоголя к самосожжению, привело Толстого к отречению от своих художественных созданий и к попытке воплотить образ Пророка в себе самом.

Всю мою жизнь я слышу со всех сторон сокрушения любителей литературы об уходе Толстого в область религиозно-нравственной проповеди. «Скольких гениальных художественных творений лишились мы из-за этого!» Подобные стенания доказывают лишь непонимание личности Толстого и детскую непродуманность того, что такое русская художественная гениальность. На склоне жизни каждого из гениев России возникает мощная, непобедимая потребность: стать не только вестником, а именно пророком — гонцом горнего мира, выражающим высшую Правду не одними только образами искусства, но всем образом своей жизни. Найти такой синтез и воплотить его в реальности дано только ничтожным единицам. Лев Толстой не нашел его, и в проповедничестве своем не создал ничего, равноценного «Войне и миру». Но поступить он мог только так и никак иначе.

...Есть в истории русской культуры особенность, которая, будучи один раз замечена, поражает сознание и становится предметом тягостного раздумья.

При ознакомлении с античностью бросается в глаза наличие в греческой мифологии разнообразнейших и весьма напряженных выражений Женственного Начала. Без Афины, Артемиды, Афродиты, Деметры, без девяти муз, без множества богинь и полубогинь меньшего значения олимпийский миф совершенно немыслим. Так же немыслим героико-человеческий план греческой мифологии без Елены, Андромахи, Пенелопы, Антигоны, Федры.

Нельзя себе представить духовного мира древних германцев без Фрейи, Фригги, без валькирий, а их героичес-

кого эпоса — без образов Брунгильды, Гудруны, Кримгильды.

Ни в одной культуре женщина и Женственное не занимают в пантеоне, мифологии и эпосе, а позднее — во всех видах искусства, столь огромного места, как в индийской. Богиня Сарасвати и богиня Лакшми царят на высочайших тронах. Позднее, но уже в течение двух тысяч лет брахманизм и индуизм воздвигают тысячи храмов, ваяют миллионы статуй Великой Матери миров — Кали Дурги,— зиждительницы и разрушительницы вселенной. Живопись, поэзия, скульптура, драматургия, танец, философия, богословие, культ, фольклор, даже быт — все в Индии насыщено переживаниями Женственного начала: то жгучими, то нежными, то строгими.

Не только пантеону — и эпосу каждого народа знакомы, в большей или меньшей степени, образы женственного, народом излюбленные и переносимые художниками из сказания в сказание, из искусства в искусство, из века в век.

Что же видим мы в России?

На самой ранней, дохристианской стадии, в бледном восточно-славянском пантеоне — ни одного женского имени, сравнимого по вызываемому ими почитанию, с Ярилой или Перуном.

В христианском пантеоне — полностью перенесенный к нам из Византии культ Богоматери и поклонение нескольким — византийским же — угодницам.

Народные легенды о св. Февронии Муромской вызывают только чувство тягостного разочарования у всякого, кто раньше познакомился с этим образом через его вариант в опере-мистерии Римского-Корсакова.

Образ Ярославны едва намечен в «Слове о полку Игореве»; в продолжении 600 лет — ни сказка, ни изобразительные искусства, ни поэзия даже не попытались дать более углубленного, более разработанного варианта этого образа. Приближалось к концу седьмое столетие после создания гениальной поэмы, когда, наконец, образ Ярославны зазвучал по-новому в опере Бородина.

Весь колоссальный круг былин, и киевских, и новгородских, лишен женских образов почти совершенно.

Если не считать занесенную Бог ведает откуда легенду об Амуре и Психее, превратившуюся у нас в сказку об Аленьком Цветочке,— во всем необозримом море русских сказок можно найти, кажется, только один светлый женский образ с углубленным содержанием: Василису Премудрую.

И такая пустыня длится не век, не два, но тысячу лет, вплоть до XIX столетия.

И вдруг — Татьяна Ларина. Следом за ней — Людмила Глинки. И — точно некий Аарон ударил чудотворным жезлом по мертвой скале: поток изумительных образов, один другого глубже, поэтичнее, героичнее, трогательнее, пленительнее: Лиза Калитина, Елена из «Накануне», Ася, Зинаида, Лукерья из «Живых мощей», княжна Марья Болконская, Наташа Ростова, Грушенька Светлова, Марья Тимофеевна Лебядкина, Лиза Хохлакова, Волконская и Трубецкая — Некрасова, Катерина — Островского, Марфа — Мусоргского, мать Манефа и Фленушка — Мельникова-Печерского, Бабушка в «Обрыве» Гончарова, Бабушка в «Детстве» Горького, Дама с собачкой, «Три сестры» и «Чайка» Чехова, «Олеся» Куприна и, наконец, Прекрасная Дама — Блока.

...Конечно, тургеневские образы «лишних людей» очень жизненны и очень интересны для историка. Но — только для историка. Материала, привлекательного для психолога, в фигурах Рудина, Лаврецкого или Литвинова, на мой взгляд, не заключено, а интереса метаисторического никто из них не возбуждает потому, что не выражает и не отражает ни метаисторических сущностей, ни метаисторических процессов. Симптоматичнее других, разумеется, фигура Базарова, но огромное метаисторическое значение тургеневского творчества все же совсем в ином.

Миссия Тургенева заключалась в создании галереи женских образов, отмеченных влиянием Навны и Звенты-Свентаны.

То ли вследствие своеобразной, ущербной личной своей судьбы, а может быть — и в связи с какими-то более глубокими, врожденными свойствами темперамента своего и дарования, Тургенев более чем кто-либо из писателей его поколения понимал и *любил любовь* только в ее начальной поре: он — гениальный поэт «первых свиданий» и «первых объяснений». Дальнейший ход событий ведет каждый раз к катастрофе, причем совершается эта катастрофа еще до того, как судьбы любящих соединились. Может быть, тут сказалось и известное предубеждение писателей предшествующих эпох, полагавших, будто «счастливая любовь»— тема бессюжетная и неблагодарная. Но правильнее, кажется, усмотреть в этой особенности тургеневских романов и повестей отражение определенного жизненного опыта: материала для иного развития любовного сюжета этот опыт Тургеневу не дал.

И все же он попытался преодолеть эту свою ущербность.

Одна из чудеснейших его героинь, Елена, соединяется, как известно, с Инсаровым, становится спутницей его по всем излучинам пути и соучастницей его жизненного подвига. Но, наметив таким образом выход из ущербного круга, Тургенев не смог найти в запасе своих жизненных впечатлений такого материала, который позволил бы ему этот сюжет разработать и облечь в художественную плоть и кровь. Даже более: уже соединив обоих героев в их общем жизненном деле, Тургенев поддался свойственной ему любовной меланхолии и заставил Инсарова умереть, а Елену — в одиночестве продолжать начатое дело мужа. Да и особенности тургеневской *эстетики любви* продолжали сказываться: по-видимому, его особенной, художественной любовью пользовались именно те коллизии, и только те, где звучала непременная нота печали, надлома, разрыва между мечтой и действительностью,— щемящая мелодия грусти о непоправимом. Другие коллизии, очевидно, казались ему недостаточно *красивыми*. Так, есть люди и даже целые эпохи, которым руина представляется поэтичнее любого здания, живущего всей полнотой жизни...

...И все-таки, Елена — первый образ русской женщины, вырывающейся из вековой замкнутости женской судьбы, из узкой предопределенности ее обычаем, и уходящей в то, что считалось до тех пор уделом только мужчины: в общественную борьбу, на простор социального действия. Женственно-героическая линия, та линия Навны, у истоков которой на заре русской культуры возвышается монументальная фигура княгини Ольги, позднее — Марфы Посадницы и боярыни Морозовой, а в эпоху, предшествовавшую Тургеневу,— фигуры жен декабристов,— эта линия поднялась в образе Елены на новый уровень и нашла впервые свое художественное воплощение.

...Какая странная фигура — Владимир Соловьев на горизонте русской культуры! Не гений — но и не просто талант; то есть, как поэт — пожалуй, талант, и даже не из очень крупных, но есть нечто в его стихах, понятием таланта не покрываемое.— Праведник? — Да, этический облик Соловьева был исключительным, но все же известно, что от многих своих слабостей Соловьев при жизни так и не освободился.— Философ? — Да, это единственный русский философ, заслуживающий этого наименования безо всякой натяжки, но система его оказалась недостроенной, большого значения в истории русской культуры не име-

ла, а за границей осталась почти неизвестной.— Кто же он? Пророк? — Но где же, собственно, в каких формах он пророчествовал и о чем? Может быть, наконец, «молчаливый пророк», как назвал его Мережковский,— пророк, знаменующий некие духовные реальности не словами, а всем обликом своей личности? Пожалуй, последнее предположение к действительности ближе всего, и все-таки, с действительностью оно не совпадает...

...Великим духовидцем — вот кем был Владимир Соловьев. У него был некий духовный опыт, не очень, кажется, широкий, но по высоте открывшихся ему слоев Шаданакара превосходящий, мне думается, опыт Экхарта, Беме, Сведенборга, Рамакришны, Рамануджи, Патанджали, а для России — прямо-таки беспримерный.

Это — три видения, или, как назвал их сам Соловьев в своей поэме об этом, «три свидания»: первое из них он имел в 8-летнем возрасте во время посещения церкви со своею бонной, второе — молодым человеком в библиотеке Британского музея в Лондоне, а третье — самое грандиозное — вскоре после второго, ночью, в пустыне близ Каира, куда он устремился из Англии, преодолевая множество преград, по зову внутреннего голоса. Отсылаю интересующихся и еще незнакомых с этим уникальным религиозным документом к поэме «Три свидания»: она говорит сама за себя. Цитировать ее в настоящее время я лишен возможности, а передавать ее содержание собственными словами не дерзаю. Осмелюсь констатировать только, что Соловьев пережил трижды, и в третий раз с особенной полнотой, откровение Звенты-Свентаны, то есть восхищение в Раорис, один из наивысших слоев Шаданакара, где Звента-Свентана пребывала тогда. Это откровение было им пережито в форме видения, воспринятого им через духовное зрение, духовный слух, духовное обоняние, органы созерцания космических панорам и метаисторических перспектив — то есть почти через все высшие органы восприятия, внезапно в нем раскрывшиеся. Ища в истории религии европейского круга какого-нибудь аналога или, лучше сказать, предварения такого духовного опыта, Соловьев не смог остановиться ни на чем, кроме гностической идеи Софии Премудрости Божией. Но идея эта у гностика Валентина осложнена многоярусными спекулятивными построениями, с опытом Соловьева, по-видимому, почти ни в чем не совпадавшими, тем более что он сам считал какие бы то ни было спекуляции на эту тему недопустимыми и даже кощунственными. Идея эта не получила в историческом христианстве ни дальнейшего развития, ни

тем более богословской разработки и догматизации. Это естественно, если учесть, что эманация в Шаданакар великой богорожденной женственной монады совершилась только на рубеже XIX века,— метаисторическое событие, весьма смутно уловленное тогда Гёте, Новалисом и, может быть, Жуковским. Поэтому до XIX века никакого мистического опыта, подобного опыту Соловьева, просто *не могло быть:* объекта такого опыта в Шаданакаре еще не существовало. В эпоху гностицизма воспринималось другое: происшедшее незадолго до Христа низлияние в Шаданакар сил Мировой Женственности, не имевшее никакого личного выражения, никакой сосредоточенности в определенной богорожденной монаде. Эхо этого события достигло сознания великих гностиков и отлилось в идею Софии. В восточном христианстве образ Софии Премудрости Божией все-таки удержался, хотя и остался никак не связанным с православною богословскою доктриной и даже как-то глухо ей противореча. Слабые попытки увязать одно с другим приводили только к абсурду, вроде понимания Софии, как условно-символического выражения Логоса, Христа.

Сам Соловьев считал, что в девяностых годах прошлого века для открытой постановки вопроса о связи идеи Софии с православным учением время еще не пришло. Он хорошо понимал, что вторжение столь колоссальной высшей реальности в окостеневший круг христианской догматики может сломать этот круг и вызвать новый раскол в церкви; раскол же рисовался ему великим злом, помощью грядущему антихристу, и он хлопотал, как известно, больше всего о противоположном: о воссоединении церквей. Поэтому он до конца своей, рано оборванной жизни так и не выступил с провозвестием нового откровения. Он разрешил себе сообщить о нем лишь в легком, ни на что не претендующем поэтическом произведении. Личная же скромность его и глубокое целомудрие, сказывающиеся, между прочим, в кристальной ясности языка даже чисто философских его работ, подсказали ему — окружить повесть о трех свиданиях, трех самых значительных событиях его жизни, шутливым, непритязательно-бытописующим обрамлением. Поэма осталась мало известной вне круга людей, специально интересующихся подобными документами,— круга, у нас немногочисленного даже и перед революцией, а ныне и вовсе лишенных возможности как-либо проявлять себя вне стен своих уединенных комнат. Но влияние этой поэмы и некоторых других лирических стихотворений Соловьева, посвященных той же теме, сказалось и на идеалистической философии начала века — Трубецком,

Флоренском, Булгакове — и на поэзии символистов, в особенности Блока...

...В том, что миссия Соловьева осталась недовершенной, нет ни капли его собственной вины. От перехода со ступени духовидения на ступень пророчества его не отделяло уже ничто, кроме преодоления некоторых мелких человеческих слабостей, и вряд ли может быть сомнение в том, что, продлись его жизнь еще несколько лет, эти слабости были бы преодолены. Именно в пророчестве о Звенте-Свентане и в создании исторических и религиозных предпосылок для возникновения Розы Мира заключалась его миссия. Тогда Роза Мира, вернее, ее зерно могло бы возникнуть еще внутри православия, его изменяя и сближая со всеми духовными течениями правой руки. Это могло бы произойти в России даже в условиях конституционной монархии. Соловьев должен был бы принять духовный сан и, поднимая его в глазах народа на небывалую высоту авторитетом духовидца, праведника и чудотворца, стать руководителем и преобразователем церкви. Известно, что в последние годы жизни перед внутренним взором Соловьева все отчетливее раскрывались перспективы последних катаклизмов истории и панорама грядущего царства Противобога, и он сосредоточился на мечте о воссоединении церквей и даже о будущей унии иудаизма и ислама с христианством для борьбы с общим врагом: уже недалеко во времени рисовавшимся пришествием антихриста. В его письмах имеются бесспорные доказательства, что в подготовке общественно-религиозного сознания к этой борьбе он видел в последние годы свое призвание. Мы не можем знать, в каких организационных и структурных формах религиозности совместил бы он преследование этой задачи с пророческим служением Вечной Женственности. Формы эти зависели бы не от него одного, но и от объективных условий русской и всемирной истории. Но и само течение этой истории было бы иным, если бы первые тридцать лет двадцатого столетия были бы озарены сиянием этого светлейшего человеческого образа, шедшего прямой дорогой к тому, чтобы стать чудотворцем и величайшим визионером всех времен.

Призвание осталось недовершенным, проповедь — недоговоренной, духовное знание — не переданным до конца никому: Соловьев был вырван из Энрофа в расцвете лет и сил тою демонической волей, которая правильно видела в нем непримиримого и опасного врага.

Обаяние его моральной личности, его идей и даже его внешнего облика — прямо-таки идеального облика Про-

рока в настоящем смысле этого слова, воздействовали на известным образом преднастроенные круги его современников чрезвычайно, и это несмотря на всю недоговоренность его религиозного учения. За 15 лет, протекшие от его смерти до революции, было издано многотомное собрание его сочинений и появилась уже целая литература о Соловьеве и его философии. Работа эта была оборвана на сорок с лишним лет с приходом предшественников того, о ком он предупреждал. Подобно завесе гробового молчания, опущенной на весь отрезок жизни Александра Благословенного после Таганрога, глухая вода безмолвия сомкнулась и над именем Владимира Соловьева. Его сочинения и работы о нем были сделаны почти недоступными и имя философа проскальзывало только в подстрочных примечаниях к стихам Александра Блока, как имя незадачливого идеолога реакции, внушившего молодому поэту кое-какие из наиболее регрессивных его идей. Философская бедность России повела к провозглашению вершинами философии таких деятелей XIX столетия, в активе которых числятся только публицистические, литературно-критические или научно-популярные статьи да два-три художественно беспомощных романа. Единственный же в России философ, создавший методологически безупречный и совершенно самостоятельный труд «Критика отвлеченных начал», замечательную теодицею «Оправдание добра» и ряд провидческих концепций в «Чтениях о богочеловечестве», «Трех разговорах», «России и вселенской церкви» — оказался как бы не существовавшим. Дошло до того, что целые интеллигентные поколения не слыхали даже имени Владимира Соловьева, покоящегося на московском Новодевичьем кладбище под обескрещенною плитой.

Что в Синклите России могуч Пушкин, велик Достоевский, славен Лермонтов, подобен солнцу Толстой — это кажется естественным и закономерным. Как изумились бы миллионы и миллионы, если бы им было показано, что тот, кто был позабытым философом-идеалистом в России, теперь досягает и творит в таких мирах, куда еще не поднялись даже многие из светил Синклита.

...Общеизвестно, что в ранней юности, в пору своих, еще совершенно наивных и расплывчатых поэтических вдохновений, ничем оригинальным не отмеченных, Блок познакомился — не столько с философией, сколько с поэзией Владимира Соловьева. Самого Соловьева он успел повидать только один раз и, кажется, даже не был представлен знаменитому тогда философу. Об этой встрече Блок сам рас-

сказывает в статье «Рыцарь-монах», мало известной, но в метаисторическом отношении весьма замечательной. Дело происходило на панихиде и похоронах какого-то литературного или общественного деятеля, в серый, зимний столичный день. Молодой, никому еще не ведомый поэт не мог, конечно, отвести глаз от фигуры властителя его дум,— фигуры, поражавшей людей и с гораздо меньшей восприимчивостью. Но встретились они глазами, кажется, только раз; синие очи духовидца Звенты-Свентаны остановились на прозрачных серо-голубых глазах высокого статного юноши с кудрявою, гордо приподнятой головой. Бог знает, что прочитал Соловьев в этих глазах; только взор его странно замедлился. Если же вспомнить горячую любовь Блока к стихам Соловьева и необычайный пиэтет к его личности, то покажется естественным, чтобы в момент этой первой и единственной между ними встречи глаза будущего творца «Стихов о Прекрасной Даме» отразили многое,— столь многое, что великий мистик без труда мог прочитать в них и заветную мечту, и слишком страстную душу, и подстерегающие ее соблазны сладостных и непоправимых подмен.

Рассказывая об этой встрече, Блок явно недоговаривает. Свойственная ему скромность и естественное нежелание обнажать в журнальной статье свое слишком интимное и неприкосновенное, помешали ему высказать до конца смысл этой встречи глаз под редкими перепархивающими снежинками петербургского дня. Очевидно только то, что встреча эта осталась в памяти Блока на всю жизнь и что он придавал ей какое-то особое значение.

Через три года в книжных магазинах появились «Стихи о Прекрасной Даме». Соловьева — единственного человека, который мог бы понять эти стихи до последней глубины, поддержать своего молодого последователя на трудном пути, предупредить об угрожающих опасностях — уже не было в живых. Но литературною молвой Александр Блок был признан, как преемник и поэт-наследник пророка Вечной Женственности.

Не приходится удивляться тому, что ни критика, ни публика того времени не смогли осилить, не сумели осмыслить мистическую двойственность, даже множественность, уже отметившую этот первый блоковский сборник. Слишком еще был нов и неизведан мир этих идей и чувств, этих туманных иерархий, хотя каждому казалось, будто он отлично разгадывает этот поэтический шифр, как игру художественными приемами.

Между тем анализ текста позволяет с точностью уста-

новить здесь наличие трех, существенно различных, пластов.

Прежде всего в этом сборнике останавливают поэтический слух мотивы, начинающие порою звучать гордым и мужественным металлом, интонациями торжественного самоутверждения.

..мне в сердце вонзили
Красноватый уголь пророка.

Я их хранил в приделе Иоанна,
Недвижный страж,— хранил огонь лампад.

И вот — Она, и к Ней — моя Осанна —
Венец трудов — превыше всех наград.

Но не космическими видениями, не чистым сверхмирным блистанием, а смутно и тихо светится здесь луч Женственности. Он проходит как бы сквозь туманы, поднимающиеся с русских лугов и озер, он окрашивается в специфические оттенки метакультуры российской. Самое наименование — Прекрасная Дама — еще говорит об отдаленных реминисценциях Запада: недаром Блоку так близок был всегда мир германских легенд и романтизм средневековья. Но нет: эти отблески Европы не проникают глубже наименования. Образ той, кто назван Прекрасной Дамой, обрамляется русскими пейзажами, еловыми лесами, скитскими лампадами, дремотной поэзией зачарованных теремов. Старая усадебная культура, мечтательная, клонящаяся к упадку, но еще живая, дышит в этих стихах,— поздняя стадия этой культуры, ее вечерние сумерки. Если бы о Прекрасной Даме писал не двадцатидвухлетний юноша, а тридцатилетний или сорокалетний мастер слова, господин собственных чувств и аналитик собственных идей, он, вероятно, дал бы Ей даже другое имя, и мы увидали бы наиболее чистое и ясное отображение одной из Великих Сестер: идеальной Соборной Души российского сверхнарода. Именно вследствие этого Андрей Белый, Сергей Соловьев, Сергей Булгаков не могли признать в Прекрасной Даме Ту, Кому усопший духовидец посвятил свои «Три свидания»: ничего еще не зная о таких иерархиях, как Навна, они недоумевали перед слишком человеческими, слишком национальными одеждами Прекрасной Дамы, чуждыми мирам Святой Софии.

Но есть в стихах этих еще и другой пласт, и многоопытного Соловьева он заставил бы тревожно насторожиться. Сборник писался в пору влюбленности Блока в его невесту,

Любовь Дмитриевну Менделееву. Голос живой человеческой страсти лишь вуалируется матовыми, мягкими звучаниями стиха; постоянное же переплетение томительно-влюбленного мотива с именем и образом Прекрасной Дамы окончательно погружает все стихи в мглистую, тревожную и зыбкую неопределенность. Чувствуется, что эту неопределенность сам поэт даже не сознает, что он весь — в ней, внутри нее, в романтическом смешении недоговоренного земного с недопроявившимся небесным.

...Миновало еще три года. Отшумела первая революция. Был окончен университет, давно определилась семейная жизнь. Но — сперва изредка, потом все чаще вино и омуты ночного Петербурга начинали предрешать окраску месяцев и лет.

И вот из печати выходит том второй: «Нечаянная радость».

Название красивое, но мало подходящее. Нет здесь ни Нечаянной радости (это — наименование одной из чтимых чудотворных икон Божией Матери), ни просто радости, ни вообще, чего бы то ни было нечаянного. Все именно то, чего следовало ждать. Радостно только одно: то, что появился колоссальный поэт, какого давно не было в России, но поэт с тенями тяжкого духовного недуга на лице.

Только наивные люди могли ожидать от автора «Стихов о Прекрасной Даме», что следующим его этапом, и притом в 26-летнем возрасте, будет решительный шаг к некоей просветленности и солнечной гармоничности. Как будто груз чувственного и неизжитого, уже вторгшегося в культ его души, мог исчезнуть неизвестно куда и отчего за три года жизни с молодой женой и слушанья цыганских песен по ресторанам. Когда читаешь критические разборы этих стихов Андреем Белым или Мережковским, то есть теми, от кого можно было бы ждать наибольшей чуткости и понимания, сперва охватывает недоумение, потом чувство горечи, а под конец — глубокая грусть. Какое отсутствие бережности, дружественности, любви, даже простой человеческой деликатности! Точно даже злорадство какое-то сквозит в этих ханжеских тирадах по поводу «измены» и «падения» Блока. И все облечено в такой нагло поучающий тон, что даже ангел на месте Блока крикнул бы, вероятно: «Падаю — так падаю. Лучше быть мытарем, чем фарисеем».

И все же измена действительно совершилась. И по существу дела, каждый из этих непрошеных судей был прав.

Блок не был «Рыцарем бедным». Видение, «непостижное уму», если и было ему явлено, то в глубоком сомнамбулическом сне. Для того чтобы «не смотреть на женщин» и «не поднимать с лица стальной решетки», он был слишком молод, здоров, физически силен и всегда испытывал глубокое отвращение к воспитанию самого себя: оно казалось ему насилием над собственными, неотъемлемыми правами человека. Низшая свобода, свобода самости, была ему слишком дорога. Мало того: это был человек с повышенной стихийностью, сильной чувственностью, и, как я уже отмечал, бесконтрольностью. Преждевременные устремления к бесплотному повлекли за собой бунт стихии. Естественность такой эволюции была бы, конечно, ясна Соловьеву, если бы он знал стихи о Прекрасной Даме. Не ее ли предугадал он в ту короткую минуту, когда погрузил взор в дремотно-голубые глаза неизвестного юноши-поэта?

Однако эволюция эта была естественна, но не неизбежна. Вряд ли можно всецело оправдывать кого бы то ни было ссылками на слабость характера или на нежелание разобраться в самом себе. Блок не был человеком гениального разума, но он был достаточно интеллигентен и умен, чтобы проанализировать и понять полярность, враждебность, непримиримость влекущих его сил. Поняв же, он мог, по крайней мере, расслоить их проекции в своей жизни и в творчестве, отдать дань стихийному, но не смешивать смертельного яда с причастным вином, не путать высочайший источник Божественной премудрости и любви с Великою блудницей.

Во втором и потом в третьем томе стихов художественный гений Блока достигает своего зенита. Многие десятки стихотворений принадлежат к числу ярчайших драгоценных камней русской поэзии. Звучание стиха таково, что с этих пор за Блоком упрочивается приоритет музыкальнейшего из русских поэтов... Появляется даже нечто, превышающее музыкальность, нечто околдовывающее, завораживающее, особая *магия стиха,* какую до Блока можно было встретить только в лучших лирических стихотворениях Лермонтова и Тютчева. Но сам Блок говорил, что не любит людей, предпочитающих его Второй Том. Неудивительно! Нельзя ждать от человека, затаившего в душе любовь, чтобы его радовало поклонение людей, восхваляющих его измену.

И в «Нечаянной радости», и в «Земле в снегу» звучит, разрастаясь и варьируясь, щемяще-тревожный, сладостный и пьянящий мотив: жгучая любовь — и мистическая, и чувственная — к России. Кто, кроме Блока, посмел бы воскликнуть:

О, Русь моя! Жена моя! До боли
Нам ясен долгий путь.

Эта любовь взмывает порой до молитвенного экстаза. Куликово поле, трубные клики лебедей, белые туманы над Непрядвой...

И в тумане над Непрядвой спящей
Прямо на меня
Ты сошла в одежде, свет струящей,
Не спугнув коня.

Серебром волны блеснула другу
На стальном мече,
Освежила пыльную кольчугу
На моем плече;

И когда наутро тучей черной
Двинулась орда,
Был в щите твой лик нерукотворный
Светел навсегда.

Да ведь это Навна! Кто и когда так ясно, так точно, так буквально писал о Ней, о великой вдохновительнице, об идеальной душе России, о ее нисхождении в сердца героев, в судьбы защитников родины, ее поэтов, творцов и мучеников?

Какие бы грехи ни отягчили карму того, кто создал подобные песнопения, но гибель духовная для него невозможна, даже если бы в какие-то минуты он ее желал: рано или поздно его бессмертное будет извлечено Соборной Душой народа из любого чистилища.

Да... но и нерукотворный лик в щите остаться «светлым навсегда» не сможет.

...И дальше путь, и месяц выше,
И звезды меркнут в серебре,
И тихо озарились крыши
В ночной деревне, на горе.

Иду, и холодеют росы,
И серебрятся — о тебе,
Все о тебе, расплетшей косы
Для друга тайного, в избе.

Дай мне пахучих, душных зелий
И ядом сладким заморочь,

Чтоб, раз вкусив твоих веселий,
Навеки помнить эту ночь.

О ком это, кому это? Раскрываются широкие дали, затуманенные пеленой осенних дождей; пустынные тракты, притаившиеся деревни со зловещими огнями кабаков; душу охватывают тоска и удаль, страстная жажда потеряться в этих просторах, забыться в разгульной, в запретной любви — где-то у бродяжьих костров, среди полуночных трав, рдеющих колдовскими огнями.

Любые берлоги утробной, кромешной жизни, богохульство и бесстыдство, пьяный омрак и разврат —

Да, и такой, моя Россия,
Ты всех краев дороже мне.

Не только такой, но уже *именно* такой. Слышатся бубенцы бешеных троек, крики хмельных голосов, удалая песня,— то ли разгул, то ли уже разбой,— и она, несущаяся в ведовской, в колдовской пляске.

Каким это светом
Ты дразнишь и манишь?
В кружении этом
Когда ты устанешь?
Чьи песни? и звуки?
Чего я боюсь?
Щемящие звуки
И — вольная Русь?!

Да, Русь, но какая? Что общего с Навной в этой разбойной, в этой бесовской красе?

Где буйно заметает вьюга
До крыши — утлое жилье,
И девушка на злого друга
Под снегом точит лезвеё.

Закружила плясками, затуманила зельями, заморочила ласками, а теперь точит нож.

Не Навна, не Идеальная Душа, а ее противоположность.

Сперва пел о Навне, принимая ее в слепоте за Вечную Женственность. Теперь поет о Велге, принимая ее за Навну в своей возросшей слепоте.

Но это еще только начало. Страстная, не утолимая никакими встречами с женщинами, никаким разгулом, никаким растворением в народе любовь к России, любовь к полярно противоположным ее началам, мистическое сладострастие к ней, то есть сладострастие к тому, что по самой своей иноприродной сути не может быть объектом

физического обладания — все это лишь одно из русел его душевной жизни в эти годы. А параллельно с ним возникает другое.

Сперва — двумя-тремя стихотворениями, скорее описательными, а потом все настойчивее и полновластнее, от цикла к циклу, вторгается в его творчество *великий город*. Это город Медного Всадника и расстреллиевых колонн, портовых окраин с пахнущими морем переулками, белых ночей над зеркалами исполинской реки,— но это уже не просто Петербург, не *только* Петербург. Это — тот трансфизический слой под великим городом Энрофа, где в простертой руке Петра может плясать по ночам факельное пламя; где сам Петр или какой-то его двойник может властвовать в некие минуты над перекрестками лунных улиц, скликая тысячи безликих и безымянных к соитию и наслаждению; где сфинкс «с выщербленным ликом»— уже не каменное изваяние из далекого Египта, а царственная химера, сотканная из эфирной мглы... Еще немного — цепи фонарей станут мутно-синими, и не громада Исаакия, а громада в виде темной усеченной пирамиды — жертвенник-дворец-капище выступит из мутно-лунной тьмы. Это — Петербург нездешний, невидимый телесными очами, но увиденный и исхоженный *им*: не в поэтических вдохновениях и не в ночных путешествиях по островам и набережным вместе с женщиной, в которую он сегодня влюблен,— но в те ночи, когда он спал глубочайшим сном, а кто-то водил его по урочищам, пустырям, расщелинам и вьюжным мостам инфра-Петербурга.

...«Снежная маска»— шедевр из шедевров. Совершенство стиха — завораживающее, форма каждого стихотворения в отдельности и всего цикла в целом — бесподобна, ритмика неповторима по своей выразительности, эмоциональный накал достигает предела. Здесь, как и во многих стихах последующего тома, Блок — величайший поэт со времен Лермонтова. Но возрастание художественного уровня идет параллельно линии глубокого духовного падения. Более того: каждое такое стихотворение — потрясающий *документ* о нисхождениях по лестнице подмен: это — купленное ценою гибели *предупреждение*.

Спутанности, туманности, неясности происходящего для самого автора, которые в какой-то мере смягчали ответственность за цепь подмен, совершенных по отношению к Душе России, здесь уже нет. Гибельность избранного пути осознана совершенно отчетливо.

Чтó быть бесстрастным? Чтó — крылатым?
Сто раз бичуй и укори,

Чтоб только быть на миг проклятым
С тобой — в огне ночной зари!

Вряд ли сыщется в русской литературе другой документ, с такой силой и художественным совершенством говорящий о жажде быть прóклятым, духовно отвергнутым, духовно погибшим,— о жажде саморазрушения, своего рода духовного самоубийства. И что тут можно сделать,

Если сердце хочет гибели,
Тайно просится на дно?

Сперва — тайно, а потом уже и совершенно явно. Любовь к Н. Н. Волоховой (а «Снежная маска» посвящена именно ей) оказывается только своего рода магическим кристаллом: с неимоверной настойчивостью следуют друг за другом такие образы женственного, какие неприменимы ни к какой женщине в нашем физическом слое. Они возрастают в своей запредельности, в своей колоссальности от стихотворения к стихотворению, пока, наконец,

В ледяной моей пещере —
В и х р е й с е в е р н а я д о ч ь![1]
Из очей ее крылатых
С в е т и т м г л а.
Т р е х в е н е ч н а я т и а р а
Вкруг чела.
. . . .
Стерегите, злые звери,
Чтобы ангелам самим
Не поднять меня крылами,
Не вскружить меня хвалами,
Н е п р о н з и т ь м е н я Д а р а м и
И П р и ч а с т и е м с в о и м!

У меня в померкшей келье —
Два меча.

У меня над ложем — знаки
Черных дней.

И струит мое веселье
Два луча.

---

[1] Разрядка здесь и далее Д. Андреева.

То горят и дремлют маки
Злых очей.

Уж кажется, яснее ясного, что это за злые очи! Неужто и после этого придет в голову хоть одному чуткому исследователю, будто центральный женский образ «Снежной маски» — конкретная женщина, любимая поэтом, актриса такого-то театра, Н. В. Волохова? Тонкая, умная, благородная Волохова, по-видимому, никогда (насколько можно судить по ее неопубликованным еще воспоминаниям) не могла понять до конца пучин этой любви к ней: понять, кого любил Блок в ней, за ней сквозь нее. Это ее непонимание сознавал, кажется, и сам Блок:

Меж всех — не знаешь ты одна,
Каким раденьям ты причастна,
Какою верой крещена.

Ведь не попусту же, в конце концов, это многозначительное заглавие: «Снежная маска»! Недаром же все время проходит мотив маскарада, мотив женского лица, скрытого от взоров. Можно сказать, в некотором смысле, что для Блока сама Волохова была маскою на лице женственной сущности, неудержимо увлекавшей его то ли в вихри звезд и вьюг, то ли вниз и вниз...

Разумеется, не на каждое стихотворение Блока следует смотреть под таким углом зрения. Многие чудесные стихи его совершенно свободны от всякой душевной мути. Но я говорю здесь об основном его пути, о линии его жизни.

В глубоких сумерках собора
Прочитан мною свиток твой;
Твой голос — только стон из хора,
Стон протяженный и глухой.

Таким обращением некоей женственной сущности к поэту начинается одно из стихотворений, которое Блок даже не решился напечатать. Начало, перекликающееся со стихами его юности, когда входил он «в темные храмы», совершая «бедный обряд»: там ждал он «Прекрасной Дамы в сияньи красных лампад». Не Прекрасная ли Дама и сейчас мерцает своему погибающему певцу? Что говорит она? Чем утешит, чем обнадежит? Но голос звучит холодно и сурово, едва доносясь из других, далеких, инозначных слоев:

И испытать тебя мне надо;
Их много, ищущих меня,
Неповторяемого взгляда,
Неугасимого огня.

И вот тебе ответный свиток
На том же месте, на стене,
За то, что много страстных пыток
Узнал ты на пути ко мне.

Кто я, ты долго не узнаешь,
Ночами глаз ты не сомкнешь,
Ты, может быть, как воск, истаешь,
Ты смертью, может быть, умрешь.

Как будто бы очень похоже на Прекрасную Даму. Прекрасной Даме, госпоже небесных чертогов, человек, может быть, тоже кажется видением миров далеких и глухих. Говорящая теперь утверждает, что его страдание, томление и тоска были о ней. Но о ком же они были, как не о Прекрасной Даме? Значит, мы слышим, наконец, в этих стихах или голос Прекрасной Дамы, или кого-то, говорящего ее голосом. Так что же начертывает она в «ответном свитке» сердцу, ее ищущему?

Твои стенанья и мученья,
Твоя тоска — что́ мне до них?
Ты — только смутное виденье
Миров далеких и глухих.

. . . .

И если отдаленным эхом
Ко мне дойдет твой вздох «люблю»,
Я громовым, холодным смехом
Тебя, как плетью, опалю!

Так вот она кто! Пускай остается неизвестным ее имя — если имя у нее вообще есть,— но из каких мировых провалов, из каких инфрафизических пустынь звучит этот вероломный, хищный голос — это, кажется, яснее ясного. Госпожа... да, Госпожа, только не небесных чертогов, а других, похожих на ледяные, запорошенные серым снегом преисподних. Это еще не сама Великая Блудница, но одно из исчадий, царящих на ступенях спуска к ней, подобно Велге.

«Здесь человек сгорел»— эту строку Фета взял он однажды эпиграфом к своему стихотворению,

Чтобы по бледным заревам искусства
Узнали жизни гибельный пожар.

Но в чем же, собственно, заключался пожар жизни и что в нем было гибельного? Блок всю жизнь оставался благородным, глубоко порядочным, отзывчивым, добрым человеком. Ничего непоправимого, непрощаемого, преступного он не совершил. Падение выражалось во внешнем слое его жизни, в плане деяний, только цепью хмельных вечеров, страстных ночей да угаром цыганщины. Людям, скользящим по поверхности жизни, даже непонятно: в сущности, какое тут уж такое будто бы ужасное падение, о какой гибели можно говорить? Но понять чужое падение *как падение* могут только те, кому самим есть откуда падать. Те же, кто сидит в болоте всю жизнь, воображают, что это в порядке вещей и для всех смертных. Когда вчитаешься в стихи Блока, как в автобиографический документ, как в исповедь, тогда уяснится само собой, что это за падение и что за гибель.

Третий том — это, в сущности, уже пепелище. Душевное состояние поэта ужасно.

Ты изменил давно,
Бесповоротно.

Непробудная ночь плотно обняла все — и землю, и то, что под ней, и то, что свыше. Одна беспросветная страница сменяется другой, еще кромешнее. Клочья, уцелевшие в памяти от трансфизических странствий, переплетаются с повседневностью в единый непрерывный кошмар. Вспоминается стих Корана: «Один мрак глубже другого в глубоком море».

Не таюсь я перед вами,
Посмотрите на меня:
Я стою среди пожарищ,
Обожженный языками
Преисподнего огня.

Вот в эти-то годы и была написана Блоком коротенькая статья-воспоминание «Рыцарь-монах», та самая, с напоминания о которой я начал эту главу. Заголовок — странный, вне метаисторического толкования не имеющий смысла. Каким рыцарем был при жизни Соловьев — человек, во весь век свой не прикоснувшийся к оружию, доктор философии, лектор, кабинетный ученый? и каким мона-

хом — он, никакого пострига никогда не принимавший, обета целомудрия не дававший и, несмотря на всю свою православную религиозность, живший обыкновенной мирской жизнью? Но Блок и не говорит о таком Соловьеве, каким он был. Он говорит о том, каким он стал. Каким он видел его, спустя ряд лет, где-то в иных слоях: в темных длинных одеждах и с руками, соединенными на рукояти меча. Ясно, что и меч был не физический, и рыцарство — такое, какое предугадывал лишь «Рыцарь бедный», и монашество не историческое, не в Энрофе, но не от мира сего.

Ничего нет более закономерного, чем то, что рыцарь Звенты-Свентаны не оставлял младшего брата, который мечтал таким рыцарем стать, даже после его измены. Но что именно совершалось во время их трансфизических встреч, какие круги были ими посещены, от каких, действительно и окончательно непоправимых, срывов он спас поэта — это, конечно, должно остаться неприкосновенной тайной Александра Блока.

Но из того, что было показано Блоку в потусторонних странствиях этой поры его жизни, проистекло, наряду с другими, одно обстоятельство, на которое мне хочется указать особо. Блок и раньше, даже в период Прекрасной Дамы, показал, что провидческою в узком смысле этого слова, то есть способностью исторического предвозвещения, он обладал, хотя редко ею владел. Стоит вспомнить стихотворение, написанное за два года до революции 1905: «Все ли спокойно в народе? Нет: император убит»,— и в особенности его окончание:

— Кто ж он, народный смиритель?
— Темен, и зол, и свиреп:
Инок у входа в обитель
Видел его — и ослеп.

Он к неизведанным безднам
Гонит людей, как стада,
Посохом гонит железным...
— Боже! Бежим от суда!

...После «Земли в снегу» он прожил еще 12 лет. Стихи рождались все реже, все с большими интервалами,— памятники опустошенности и поздних, бессильных сожалений. А после «Розы и креста» и художественное качество стихов быстро пошло под уклон, и за целых пять лет ни одного стихотворения, отмеченного высоким даром, мы не найдем у Блока. В последний раз угасающий гений был пробужден великой революцией. Все стихийное, чем было так богато его

существо, отозвалось на стихию народной бури. С неповторимостью подлинной гениальности были уловлены и воплощены в знаменитой поэме «Двенадцать» ее рваные ритмы, всплески страстей, клочья идей, вьюжные ночи переворотов, фигуры, олицетворяющие целые классы, столкнувшиеся между собой, матросский разгул и речитатив солдатских скороговорок. Но в осмыслении Блоком этой бунтующей эпохи спуталось все: и его собственная стихийность, и бунтарская ненависть к старому, ветхому порядку вещей, и реминисценции христианской мистики, и неизжитая его любовь к «разбойной красе» России-Велги, и смутная вера, вопреки всему, в грядущую правду России-Навны. В итоге получился великолепный художественный памятник первому году Революции, но не только элементов пророчества — хотя бы просто исторической дальновидности в этой поэме нет. «Двенадцать»— последняя вспышка светильника, в котором нет больше масла. Это отчаянная попытка найти точку опоры в том, что само по себе есть исторический Мальстрем, бушующая хлябь, и только; это — предсмертный крик.

ВЕСТНИК ДРУГОГО ДНЯ

Я хотел бы выйти под широкое небо и идти, куда ведет меня мое сердце, моя вера, мой талант.

Даниил Андреев

Даниил Андреев писал о себе: «...я принадлежу к тем, кто смертельно ранен двумя великими бедствиями: мировыми войнами и единоличной тиранией. Такие люди не верят в то, что корни войн и тираний уже изжиты в человечестве или изживутся в короткий срок... Люди других эпох, вероятно, не поняли бы нас: наша тревога показалась бы им преувеличенной, наше мироощущение — болезненным».

Но нет, другие эпохи еще не настали, сегодняшний мир не изжил вчерашних тревог, полон новыми. И мироощущение поэта и мифотворца, умершего тридцать лет назад, совсем не кажется сегодня болезненным. Скорее удивительным, фантастическим. А в стихах Даниила Андреева столько поэтической энергии, его трагизм так просветлен и полон такой возвышенной духовной силы, его интонации так чужды элегических всхлипов, что ни о какой болезненности не может быть и речи.

Даниил Андреев — поэт доныне неизвестный, почти не изданный. Он и не рассчитывал быстро прийти к читателю. И тем более поразительна его открытость жизни и людям, духовная напряженность и щедрость его творчества. Он обращался к самому себе:

...В широкошумном мире
Любить, страдать — в труде, в бою, в плену,
Без страха знать и принимать все шире
Любую боль, любую глубину!

В поэзии Андреева совмещаются размах мифотворчества, включающего в себя человеческую, и прежде всего русскую, историю, природные стихии, космические миры многообразных сил добра и зла и самый искренний автобиографизм. И жизнь его была жизнью поэта, вместившей как

и его творчество, так или иначе все трагедии первой половины нашего века, его боли, ужасы, прозрения и надежды.

Даниил Андреев — сын одного из крупнейших прозаиков начала века, Леонида Николаевича Андреева. Родился он 2 ноября 1906 года в Берлине. Мать его, Александра Михайловна Велигорская, вскоре умерла от послеродовой горячки.

Е. П. Пешкова вспоминала: «Еле живого ребенка — Даниила — ее мать (то есть бабушка Д. Андреева.— *Б. Р.*) увезла в Москву, где вместе с Елизаветой Михайловной Добровой, сестрой Александры Михайловны, с трудом его выходили. Даниил Андреев много болел, но выжил»[1]. Крестным отцом Д. Андреева стал А. М. Горький.

В Москве Даниил рос под любовным и строгим присмотром бабушки — Ефросиньи Варфоломеевны Велигорской (рожд. Шевченко) в семье тетки, Е. М. Добровой. Она и ее муж, Филипп Александрович Добров, известный московский врач и общественный деятель, были, по признанию поэта, его приемными матерью и отцом. Особую роль в воспитании и духовном становлении Даниила Андреева сыграл его дядя — «наставник и друг», человек образованный и даровитый.

Много значила и сама атмосфера дома Добровых.

Вот что писал о ней брат поэта В. Л. Андреев: «Дом Добровых в Москве — номер пятый по Малому Левшинскому переулку, около самой Пречистенки — это целая, уже давно ушедшая в прошлое, эпоха русской интеллигентской семьи... с неизбежными «Русскими ведомостями», с бесконечными чаепитиями по вечерам, с такими же бесконечными политическими разговорами... с гостями, засиживавшимися за полночь, со спорами о революции, боге и человечестве»[2]. К Добровым заходили литераторы — А. М. Горький, А. Белый, Б. Зайцев и многие другие.

В отцовском доме на Черной речке под Петербургом Даниил бывал редко. В 1910 году Л. Н. Андреев пробовал взять сына к себе, но прожил он у отца недолго, его опять забрала бабушка.

В одном из стихотворений он вспоминает о доме на Черной речке, это детское воспоминание окрашено тревогой, он видит «В широких окнах большой столовой — //Закат в полнеба, как Страшный суд», слышит наверху шаги отца —

---

[1] Лит. наследство. М., 1965. Т. 72. С. 565.

[2] Андреев В. Детство. М., 1963. С. 102-103.

Он мерит вечер и ночь шагами,
И я не вижу его лица.

Революция разлучила Даниила Андреева с отцом, умершим в 1919 году от разрыва сердца, навсегда, с его семьей почти на всю жизнь. Старший брат вспоминал, что в последний раз перед революцией они виделись с Даниилом в 1916 году, в Москве.

Учился Даниил Андреев в московской частной гимназии Репман, ставшей в советское время школой № 26. О его тогдашнем юношеском мироощущении говорит стихотворение «Вальс на заре», посвященное окончанию школы:

Здравствуй, грядущее! К радости, к мужеству
Слышим твой плещущий зов!
Кружится, кружится, кружится, кружится
Медленный вихрь лепестков.

Марево Блока, туманы Есенина
И, веселее вина,
Шум многоводного ливня весеннего
Из голубого окна.

Добровы в двадцатые и тридцатые годы жили трудно и скудно, как, впрочем, и большинство тогдашней московской интеллигенции. О дорогом ему воздухе высокой духовности, доброты и радушия в доме, ставшем ему родным, «о свете годов нерастанных» Даниил Андреев писал:

Эти книжные полки,
Досягнув, наконец, к потолкам,
Помнят свадьбы и елки,
И концерты, и бредни, и гам;

Драгоценные лица,
Спор концепций и диспуты вер —
Все, что жаждется, снится,
Что творится,— от правд до химер.

В шумном доме Добровых домочадцев было немало. Один из них, муж дочери Доброва, поэт и переводчик А. В. Коваленский, дальний родственник В. С. Соловьева и А. А. Блока, оказал на Даниила существенное влияние. Уже тогда он пишет стихи, увлекается литературой, русской историей.

Во второй половине двадцатых годов Д. Андреев учился на Высших литературных курсах. Курсы были вечер-

ними. Размещались они вначале на Тверском бульваре, в доме Герцена, затем занятия проходили в одной из школ на Садовой, в других местах. Преподавали на курсах: А. Артюшков, Л. Гроссман, А. Грушка, Н. Захаров-Мэнский, И. Новиков, И. Розанов, И. Рукавишников, А. Сидоров, С. Соболевский, С. Соловьев, М. Цявловский; учились — известные позднее поэты В. Гусев, М. Петровых, А. Тарковский, переводчица Ю. Нейман, прозаик В. Сафонов.

В эти годы Даниил Андреев пишет много стихов, читает их друзьям, близким ему сокурсникам. Судя по воспоминаниям некоторых из них, стихи его насыщены религиозной символикой, отмечены сильным влиянием Блока.

Религиозность Андреева была воспитана не только строгой бабушкой и приемными родителями (дом Добровых не был чужд духовно-религиозным исканиям десятых годов), но и самим складом его личности — созерцательной, жившей глубокой и напряженной духовной жизнью и тяготением к аскетизму. Религиозные взгляды его были лишены какого-либо обрядового ханжества. Религию он считал одним из путей постижения мира, который в его сознании соседствовал с наукой, литературой, искусством.

В годы всеобщего распространения «воинствующего безбожия» обращенность к глубинным духовным проблемам приходила в грозное, почти непреодолимое противоречие с действительностью. Все более мрачным и душным был ночной воздух сталинского террора, все более бравурно звучали «фальшивые гимны» при жестком свете дня. И трагическое мироощущение открыто звучало в его стихах:

По ночам провидцы и маги,
Днем корпим над грудой бумаги,
Копошимся в листах фанеры,
Мы — бухгалтеры и инженеры.

...Все короче круги, короче,
И о правде минувшей ночи,
Семеня по узкому кругу,
Шепнуть не смеем друг другу.

Но Даниил Андреев потому и сумел, пусть в необычных формах, многое осмыслить в своем времени, что никогда не отъединял себя от народа, обостренно чувствуя себя в нем, в его истории. А родная история, как и жизнь каждого (!), входит у него важнейшей частью в процессы мирового, космического масштаба:

...Врачи, священники, учителя,
Хозяйки у очагов;

И лязгая, сдвиги эр не сотрут
Их благодатный труд,
Ни тирании, ни демоны смут,
Ни ложь друзей и врагов.

Иногда наступало отчаяние. Но это отчаяние было мужественным. Вот строки 1937 года:

Боже! Не от смерти — от падений,
Защити бесправную судьбу!

...Научи, как дивного венчанья
Ждать бесцельной гибели своей,
Сохранив лишь медный крест молчанья —
Честь и долг поэта наших дней.

Нести «крест молчанья». Это было выстраданной позицией, потому и «крест». При жизни Даниил Андреев не опубликовал ни одной строки, так как ни на какие духовные компромиссы не был способен, отличаясь предельной искренностью и беспощадной правдивостью, не дававшей ему солгать и в житейских пустяках.

Но о тридцатых годах в жизни Андреева совсем неверно говорить, как о годах лишь трагически сумрачных. Воспринимая жизнь прежде всего как поэт, обостренно чуткий к любым ее проявлениям, он умел радоваться всему прекрасному и светлому.

Добрый и ровный, всех располагавший к себе, он, как и его друзья, жил молодыми увлечениями, стихами, книгами. С юности в нем была страсть к путешествиям. В свои странствия он уходил пешком, с котомкой за плечами шагал по лесам и полям, ночевал в одиночестве у костра над «дружелюбными реками». Заходил в деревни, в такие небольшие старые русские города, как Глухов, Трубчевск... Особенно часто он бродил по Брянщине. Вот строки стихотворения «Звезда скитаний»:

Из шумных, шустрых, пестрых слов
Мне дух щемит и жжет, как зов,
Одно: бродяга.
В нем — тракты, станции, полынь,
В нем ветер, летняя теплынь,
Костры да фляга;

Следы зверей, следы людей,
Тугие полосы дождей

Над дальним бором,
Заря на сене, ночь в стогу...

Ощущение природы, прочувствованной всем существом на родных просторах, исхоженных босыми ногами (один из циклов так и называется «Босиком»), в стихах Андреева поражает своей одухотворенностью. Одухотворенностью особенной, отличной от нередкого в поэзии романтического пантеизма, с его возвышенной условностью.

Он слышит, «как в гнездо укладываются // Над дремлющим затоном цапли», чувствует, что земля под ним «Вся насыщенная радостью живой, // Влажно-нежная, студеная, нагая», а потом — «тонкое покалыванье хвои //Увлажненным сменится песком», видит в лопухах «смиренные крылья // Старых кладбищ и вечной земли»...

К родной природе, к безграничному многообразию ее жизни обращены поэма в стихотворениях «Лесная кровь» и поэма «Немереча», циклы «Зеленою поймой», «Сквозь природу», «Босиком». Нельзя не удивляться, что в большинстве написаны они не на вольном просторе, не после странствий по зеленым равнинам, а в тюремной камере. Сила и страстность «любимого воспоминания» делали каждое из них живым переживанием не во вчера, а в «сейчас», поэт как бы не вспоминал, а заново все переживал, нисколько не теряя ни глубины, ни непосредственности восприятия.

В той мифологической вселенной, которую создал поэт, силы природы названы стихиалями. Осмысливая глубинное родство с природой, Д. Андреев, обращаясь к неблизкому будущему, предупреждающе писал: «Когда наступление машинной цивилизации на природу станет производиться в универсальных масштабах, весь ландшафт земной поверхности превратится в законченную картину антиприроды, в чередование урбанизированных садов и небоскребов. Стихиали оторвутся от своей среды... Реки и озера, луга и поля Земли станут духовно-пустыми, мертвыми, как реки и степи Марса... Эта внутренняя опустошенность и внешне искалеченная природа ни в ком не сможет вызвать ни эстетических, ни пантеистических чувств, и любовь к природе прежних поколений сделается психологически непонятной».

Даниил Андреев не декларирует любви к природе, он любит ее, умеет как бы растворяться в ней, когда сам не знаешь, «где мир, где ты». Философские же его размышления о природе полны глубины знания и пытливой остроты мысли, усиленных поэтическим воображением. И одно из своеобразий его отношения к природе — ее «этизация». Этика, рассмотрение всего в мире, как части непрекращающейся,

всеобщей борьбы добра и зла определяло и его мировоззрение, и его поэтическую модель вселенной.

В тридцатые годы Даниил Андреев пишет много, страстно, с полным ощущением внутренней духовной свободы и силы. Трудно судить по немногим сохранившимся стихотворениям о его творчестве тех лет, но, вчитываясь в дошедшие, можно сказать, что как раз тогда он начинает складываться как самобытный поэт, приобретает собственный «голос». В те же годы начинает зарождаться его «мифологическая» космогония, которая так тщательно выписана в законченном уже перед смертью сочинении «Роза Мира».

В тогдашних, сравнительно ранних стихах встречается, конечно, отдающая ученичеством и непреодоленными влияниями перенасыщенность символикой, высокой книжной лексикой, так свойственной иным из поэтов начала века. Эта, на наш сегодняшний вкус, несколько старомодная высокопарность была обусловлена не только его поэтическим складом, душевным строем, но и той поэтической традицией, к которой Даниил Андреев чувствовал себя причастным. Любимыми его поэтами были Лермонтов, Фет, А. К. Толстой, Блок, но в его стихотворениях, прежде всего ранних, можно найти следы влияния В. Иванова, В. Брюсова, К. Бальмонта, А. Белого, М. Волошина. Поэтические его вкусы были достаточно широкими, он очень высоко ценил Н. Гумилева, М. Волошина и раннего Б. Пастернака, к Н. Заболоцкому же, познакомившись с «Торжеством земледелия», остался равнодушен.

Как раз в тридцатые годы в русской советской поэзии становятся преобладающими, по крайней мере на страницах журналов и выходящих книг, неклассические размеры, поэты стремятся в необычных ритмах воспеть индустриализацию, пятилетку, современность. Но чаще всего за фасадом плакатно возвышавшейся современности многие, и не только бойкие «литераторы», но и иные даровитые поэты, не чувствовали или не хотели замечать трагизма тех лет, глубинного смысла событий.

Конечно, совсем отстраненными от реальной жизни, книжными, анахроничными кажутся строки Д. Андреева из стихотворения 1933 года:

Чтоб лететь к невозможной отчизне,
Чтобы ветер мечты не стих,
У руля многопарусной жизни
Я поставил тебя, мой стих.

Чтобы сердце стало свободным,
В час молитв — подобным свече,
Знаменосцем в бранные годы,
Трубадуром — в лунном луче.

Но за каждой строкой, пусть условно-поэтической, да и риторической, стояла реальность его внутреннего мира, реальность, противостоявшая не жизни с ее чутко ощущаемым поэтом трагизмом, а ее косноязычному, фальшивому проявлению, ее «газетной» поверхности.

Стихотворец меньшего дарования, меньших духовных сил вряд ли бы сумел в дальнейшем преодолеть или оживить как бы давно засушенные, как бы из гербария символистского толка обороты и романтические штампы, изредка встречающиеся даже в его стихах пятидесятых годов. Да и Даниилу Андрееву это удается не всегда, не в полной мере, но так или иначе каждая строка у него соотносится с его поэтически-мифологической моделью мироздания.

В тридцатые годы Д. Андреев, живя насыщенной интеллектуальной и творческой жизнью, зарабатывал на жизнь по большей части как художник-шрифтовик, оформитель. А главным было творчество.

Как поэт, как зрелый мастер, Даниил Андреев сложился уже во второй половине тридцатых годов, хотя несомненно, что самое значительное сделано им позднее, в пятидесятых.

В 1937 году он видит и понимает, понимает, как поэт, не только скрываемый ужас сегодняшнего дня, еще более грозным ему кажется день надвигающийся:

В залах — оркестры праздничных толп,
Зерно течет в закрома...
Кажутся сказкой — огненный столп,
Смерть, вечная тьма.

Войн, невероятных как бред,
Землетрясений, смут,
В тусклом болоте будничных лет
Выросшие — не ждут.

В 1937 он начинает работу над романом, сыгравшим в его судьбе трагическую роль. Роман назывался «Странники ночи», изображалась в нем жизнь московской интеллигенции, ее духовные поиски и метания в те предвоенные годы.

Рукопись романа, который так и не был завершен, конфискованная при аресте да и послужившая основным материалом обвинения, видимо, не сохранилась. Но слышавшие

этот роман в чтении автора, а он не однажды читал его близкому кругу друзей, передают, что главный герой его — Олег — был во многом автобиографичен.

В конце 1942 года Даниил Леонидович Андреев был мобилизован. По состоянию здоровья (заболевание позвоночника) он попал в нестроевую часть — подносил снаряды, работал санитаром в полевом медсанбате.

В начале зимы 1943 года Андреев участвовал в переходе 196-й стрелковой дивизии по «Ледовой трассе» Ладожского озера. Был в осажденном Ленинграде, в боях под Синявином и в Шлиссельбурге.

О событиях этой зимы он писал в поэме «Ленинградский апокалипсис». В поэме пережитое и осмысленное предстают частью какого-то мифологического эпоса:

Вперед, вперед! Быть может, к полночи
И мы вот так же молча ляжем,
Как эти птицы, фюзеляжем
До глаз зарывшиеся в ил,
И озеро тугими волнами
Над нами справит чин отходный,
Чтоб непробудный мрак подводный
Нам мавзолеем вечным был.

Великую Отечественную войну Даниил Андреев воспринимал не только как ее участник, разделявший вместе со всеми страдания, отдававший силы победе, но и как эпический поэт или, по его терминологии, «метаисторик», видящий мировой, космический смысл великих сражений. Этот взгляд, подобный которому мы вряд ли найдем у кого-либо в литературе «военного поколения», и определил особенность его поэтического изображения войны. В 1941 году он так писал о ее начале:

Киев пал. Все ближе знамя Одина.
На восток спасаться, на восток!
Там тюрьма. Но в тюрьмах дремлет Родина,
Пряха-мать всех судеб и дорог.
Гул разгрома катится в лесах,
Троп не видно в дымной пелене...
Вездесущий рокот в небесах,
Как ознобом хлещет по спине.

Не хоронят. Некогда. И некому.
На восток, за Волгу, на Урал!
Там Россию за родными реками
Пять столетий враг не попирал!

В 1944 году из полевого госпиталя, где он служил санитаром, Д. Л. Андреев был откомандирован в Москву, а весной победного года демобилизован и признан инвалидом Великой Отечественной войны в связи с заболеванием сердца и расстройством нервной системы.

В 1946 году выходит написанная Д. Андреевым совместно с географом С. Н. Матвеевым книга «Замечательные исследователи горной Средней Азии». Вторая подготовленная им книга, посвященная русским исследователям Африки, так и не вышла, оставшись в корректуре. В апреле 1947 года Д. Л. Андреева вместе с семьей арестовали. Причиной был роман, который поэт читал немногим. Арестовали и его слушателей. Следствие длилось полтора года, Даниила Леонидовича Андреева обвинили в соответствии с нравами того времени, ни много ни мало, как в подготовке покушения на Сталина.

Так называемой «тройкой» Особого совещания Андреев был осужден на двадцать пять лет тюрьмы.

Годы, проведенные Даниилом Андреевым во Владимирской тюрьме, как это на первый взгляд ни странно, оказались творчески плодотворными, озаренными вдохновенным трудом. Об этом говорит его творческое наследие.

Но есть и прямые признания.

В «Розе Мира» он писал: «Как могу я не преклоняться с благодарностью перед судьбой, приведшей меня на десятилетия в те условия, которые проклинаются почти всеми, их испытавшими, и которые были не вполне легки и для меня, но которые вместе с тем послужили могучим средством к приоткрытию духовных органов моего существа. Именно в тюрьме, с ее изоляцией от внешнего мира, с ее неограниченным досугом, с ее полутора тысячью ночей, проведенных мною в бодрствовании, лежа на койке, среди спящих товарищей — именно в тюрьме для меня начался новый этап...»

А вот письмо жене, написанное в середине января 1955 года: «...для меня совершенно неприемлемо представление о такой форме существования, где мне пришлось бы лгать перед самим собой или перед другими. Этого одного достаточно, чтобы я предпочел остаться там, где я нахожусь, если б это от меня зависело, еще ряд лет. Здесь я могу не лгать ни единым словом, ни единым движением. Здесь я могу не презирать себя. Я могу, хотя бы отчасти, делать то, для чего вообще живу».

В этом нет ни преувеличения, ни ослепленности собственной одержимостью. Вот слова Варлама Шаламова из его «Колымских рассказов»: «Тюрьма — это свобода. Это единственное место, которое я знаю, где люди, не боясь, говорили все, что они думали. Где они отдыхали душой»[1].

В разное время его сокамерниками были такие незаурядные люди, как В. В. Шульгин, академик В. В. Парин.

Вспоминая об Андрееве, В. В. Парин писал: «От этих лет у меня осталась непреходящая любовь к Даниилу Леонидовичу, преклонение перед его отношением к жизни, как к повседневному творческому горению. Невзирая ни на какие внешние помехи, он каждый день своим четким почерком покрывал волшебными словами добываемые с трудом листки бумаги. Сколько раз эти листки отбирали во время очередных «шмонов» (простите за это блатное слово!), сколько раз Д. Л. снова восстанавливал все по памяти. Он всегда читал нам — нескольким интеллигентным людям из общего населения камеры (13 «з/к») — то, что он писал».

Как бы то ни было, и тюрьма, и оторванность от литературной среды, и невозможность печататься вряд ли способствуют плодотворному творчеству. Они накладывают на него свой горестный отпечаток.

В заключении Даниилом Андреевым написаны девять поэм и многие циклы стихотворений, большинство из которых составили так и не во всем завершенный (остались ненаписанными задуманные поэмы — «Александр», «Плавание к небесному кремлю», «Солнечная симфония») поэтический ансамбль-книгу «Русские боги», стихотворная драма «Железная мистерия». И, наконец, вчерне был закончен философско-поэтический трактат в прозе (затруднительно более точно определить жанр этого сочинения) «Роза Мира», который поэт считал делом жизни.

«Роза Мира»— книга удивительная и неожиданная. Это и философский трактат, и причудливая поэма, и эссе, и подробнейший путеводитель по фантастическим мирам мифологической вселенной, увиденной стереоскопическим поэтическим зрением.

Особенности этого зрения Андреев определял так: «Многое воспринимаю я при помощи различных родов внутрен-

---

[1] Новый мир. 1988. № 6. С. 115.

него зрения: и глазами фантазии, и зрением художественного творчества, и духовным предощущением».

А вот лирическое признание:

Мое знанье сказке уподоблено
И непредсказуемо, как миф...

Не рассматривая подробно мифотворчество Даниила Андреева с точки зрения сегодняшнего научного понимания мифа, нужно отметить теснейшую связь его поэзии с мифологией «Розы Мира».

Устройство вселенной в поэтической космогонии Даниила Андреева определяют сражающиеся и взаимодействующие, причудливо многообразные силы добра и зла. Наша Земля с ее историей — один из миров мыслимой вселенной, она, по представлениям Андреева, являет как бы слой конкретной исторической действительности, называемый в «Розе Мира» Энрофом. Над Энрофом встают с разными координатами времени и пространства миры Просветления. «Вниз» уходят демонические миры. Эта система «разноматериальных» слоев вокруг каждой из планет называется брамфатура. Имя брамфатуры Земли — Шаданакар.

В «Розе Мира», в ее мифологическом космосе все процессы, все силы обусловлены историческим богатством общественной, политической, духовной жизни человечества, с его национальными, научными, религиозными движениями, со всем разнообразием земной жизни. Человеку в этом мире, каждой душе подарена самая широкая свобода воли. Эта свобода и определяет высокую ответственность человека за все его действия.

Роза Мира — это будущее всечеловеческое братство, это как бы мировидение будущего, его духовная программа, конечно, вполне утопическая.

В космосе Д. Андреева отразилась сложнейшая переплетенность добра и зла в жизни, та неоднозначность причин и следствий, которая далека от механистичности многих мистических построений. Вся земная история включается поэтом во вселенских масштабах в битву Тьмы и Света, которая для людей принимает конкретные исторические формы и в которой все мы так или иначе участвуем, становясь на ту или иную сторону.

Многие страницы «Розы Мира» заняты рассмотрением «метаистории» (так Д. Андреев определял свой метод) России. Россия прежде всего волновала и интересовала его на протяжении всей жизни и как мыслителя, и как поэта.

В поэме «Гибель Грозного» Даниил Андреев замечал:

О, я знаю: похвалу историка
Не стяжает стих мой никогда.
Вред, мечта, фантастика, риторика —
Кто посмеет им ответить «да»?
Но таков своеобычный рок
Темнокрылых дум о старине,
Странных дум, седых, как пыль дорог,
Но принадлежащих только мне.

В «Розе Мира» поэт утверждает, что метаистория всегда мифологична. Потому-то и его поэтические произведения включают исторически конкретные события в мифологический контекст его космогонии. Он мифологизирует прежде всего те таинственные для обыденного, да и не только обыденного, сознания исторические силы, которые движут конкретными событиями. Обычно эти силы не улавливаются большинством современников в их всемирно-историческом значении, в их логике.

Мифологическое осмысление жизни имеет давние корни, хорошо известно, что у всех народов есть своя фольклорная, часто и мифологическая версия истории. Вообще, миф — это своеобразнейший способ восприятия и познания каких-либо сторон действительности в общем, сознанием не анализирующим, а старающимся охватить мир в его целостности. И сегодня в науке все чаще утверждается понимание мифа, как «жизненно ощущаемой и творимой вещественной реальности»[1]. Потому-то миф, как система символов — художественный метод познания, необходимый не науке, а поэзии.

В поэтической системе «Розы Мира» каждый народ имеет своего демиурга, творца, и свою Соборную душу. Имя демиурга России — Яросвет, а Соборной души — Навна. Навна — невеста Яросвета. И все демиурги народов Земли — братья, а все Соборные души — сестры. Но в процессе развития человечества возникли демоны государственности — уицраоры, которые враждуют, стремясь пожрать друг друга, чтобы за счет побежденного стать сильнее. Уицраоры противостоят силам света, и каждая война на Земле — отражение их битв. Имя уицраора России — Жругр. Силы зла заинтересованы в земных кровопролитиях и страданиях, служащих им пищей и восполняющих их жизненные силы. Эта пища называется гаввах. А все то доброе, что случается на Земле, придает мощи силам света.

По Даниилу Андрееву, огромна в истории роль родомыслов — тех, кто ведет народ в годы судьбоносных событий.

---

[1] См.: Лосев А. Ф. Диалектика мифа. М., 1930.

Родомыслами он называет великого князя Владимира, крестителя Руси, Александра Невского, Минина и Пожарского... Не менее значительна в истории, в борьбе добра и зла миссия творцов — вестников. Каждым вестником, кроме таланта, руководит Водитель, ведущий по пути долга,— даймон. Руководит вестниками и Соборная душа.

Десятая книга «Розы Мира» посвящена великим русским поэтам и прозаикам, которых Даниил Андреев считал вестниками — Пушкину, Лермонтову, Гоголю, Достоевскому, Толстому, Блоку...

Мифологический космос Даниила Андреева не совсем характерен для русской литературы. Конечно, мы встречаем романтический мифологизм у Лермонтова или, позднее, роман-миф А. Белого «Петербург», можно вспомнить мифотворчество В. Хлебникова и «Мастера и Маргариту» М. Булгакова. Некоторые мотивы «Розы Мира» перекликаются с «Легендами» Н. К. Рериха. Но попытки создать мифологическую вселенную большего или меньшего масштаба были характерны больше для Западной Европы, для совсем других эпох.

Прежде всего вспоминается Данте, нарисовавший свое поэтическое мироздание в «Божественной комедии» и очертивший идеал мироустройства в трактате «Монархия». Впрочем, об аналогии своего творческого метода с поэзией великого итальянца писал и сам Д. Андреев, придавая огромное значение «Божественной комедии», которую, по его словам, «мы не в силах исчерпать, толкуя... как сумму художественных приемов, политической ненависти и поэтических фантазий».

Никак не сравнивая значения творчества Данте и неизвестного широкому читателю Даниила Андреева, нельзя не сказать об уникальности его космологии для русской поэзии, которая, по словам О. Мандельштама, «выросла так, как будто Данта не существовало»[1]. Да и масштабы мифотворчества автора «Розы Мира» воистину дантовские. Чуткий ценитель поэзии В. Л. Андреев считал, что Даниил Андреев «единственный у нас в России поэт-визионер...».

Проводя еще какие-то, очевидно далекие и зыбкие аналогии, можно назвать здесь Джона Мильтона с его «Потерянным раем», Фридриха Клопштока с «Мессиадой», припомнить Рихарда Вагнера с его оперной тетралогией. А из писателей нашего века — Д. Р. Р. Толкиена, чья сказка «Властелин колец» имеет нечто общее с мифологией Д. Андреева.

---

[1] Мандельштам О. Слово и культура. М., 1987. С. 156.

Но все же весь пафос творчества Даниила Андреева, с его мечтами и фантазиями о всечеловеческом братстве, о воспитании «человека облагороженного образа»— очень русский по его устремлениям и истокам. Своеобразно, с поэтической неожиданностью и смелостью осмысляя события мировой и русской истории, размышляя о войне и мире, о фашизме и тирании всех видов, он уверенно говорит об обреченности зла, призывает к великому труду «во имя одухотворения человека, одухотворения человечества, одухотворения природы».

Даниил Андреев говорит нам, что «пучины любви, неиссякаемые родники творчества кипят за порогом сознания каждого из нас». И в стихах он мечтает

О любви; о расторженьи уз;
О скончаньи тираний и царств;
О планете сплавленных в союз
Совершеннейших народоправств.

Истоки миропонимания Д. Андреева можно найти не только в поэтически им усвоенном христианстве, но и в народных апокрифах о Святой Руси, в размышлениях Н. В. Гоголя и А. С. Хомякова, К. Н. Леонтьева и Ф. М. Достоевского, Н. Ф. Федорова и С. Н. Булгакова и в особенности В. С. Соловьева.

Широта религиозных воззрений Андреева, его отношение к разным религиям как «к разным путям к Богу» шло от Владимира Соловьева. Так же, как и Соловьев, Даниил Андреев строил свою этику на триаде — добро, истина, красота. А его Навна явно родственна Софии «Премудрости Божией» выдающегося русского философа.

Чрезвычайно заметна в творчестве поэта увлеченность индийской философией и культурой, индуизмом... Интересно и то, что Андреев органично включает в свою систему, с «всемирно исторической отзывчивостью» принимая античную, германскую, скандинавскую мифологии, вместе с христианством буддизм и ислам. Есть в этом несомненные отголоски гностицизма. В фантастическом мире находится место и эльфам немецких сказок, и нашим домовым, и образам, созданным великими художниками — Макбету Шекспира, например, Наташе Ростовой Л. Н. Толстого.

В «Розе Мира» немало страниц, на которых говорится об опасностях, подстерегающих человечество. Поэт замечает, что пока не будет достигнуто братское объединение, оно не перестанет терзаться войнами, «войнами все более и более разрушительными; наступит день, когда

их разрушительность превратится в угрозу для всей органической жизни на поверхности Земли».

К октябрю 1955 года Даниил Андреев окончательно продумал структуру и состав поэтического ансамбля «Русские боги», над которым продолжал работать до самой смерти. Главы этой книги составили поэмы и циклы стихотворений, в которых взаимодействуют как бы две главных темы, соединяются два опыта — личный и исторический. Лишь на самый поверхностный взгляд может показаться, что воспоминания детства, стихи, навеянные странствиями по лесным тропам и пыльным проселкам, и поэмы об Иване Грозном или Смутном времени не могут быть «объединены общей темой и единой концепцией».

У Даниила Андреева «личное время» всюду соединено с историческим. Он подчеркивал: «Мои книги, написанные или пишущиеся в чисто поэтическом плане — зиждутся на личном опыте метаисторического познания».

Стихотворения, поэмы книги «Русские боги», каких бы трагических периодов жизни автора или отечественной истории ни касались, как ни поразительно, лишены скорбного трагизма, пессимизма. Но они трагедийны в самом высоком смысле этого слова. Обращаясь к неведомому читателю, поэт говорит:

Не пугайся. Да и чем на свете я
Ужаснул бы тех, кому насквозь
Через мрак двадцатого столетия
Наяву влачиться довелось?
И задача книги разве та,
Чтоб кровавой памятью земли
Вновь и вновь смущалась чистота
Наших внуков в радостной дали?

Мы можем не принимать мифологически-мистическое осмысление сути событий в поэмах «Гибель Грозного» или «Рух», быть далекими от веры в достоверность темных миров, изображенных в поэме «У демонов возмездия», но не можем не быть увлечены поэтической силой образов, созданных автором, не признать и своеобразный историзм этих поэм, и верность многих оценок и наблюдений, несмотря на их непривычную форму. Да и часто то, что в научном исследовании казалось бы странностью, в поэтическом произведении становится великим достоинством.

Веря в просветленное величие судьбы России, Даниил Андреев знал, что это величие оплачено великими страданиями:

Может быть, столь пепелящим опытом
Не терзалась ни одна страна...

И еще в тюрьме, в 1956 году, он писал:

Дни скорбей и труда —
эти грузные, косные годы
Рухнут вниз, как обвал —
уже вольные дали видны,
Никогда, никогда
не впивал я столь дивной свободы,
Никогда не вдыхал
всею грудью такой глубины!

В 1957 году, в апреле, Даниил Леонидович Андреев был освобожден в связи с сокращением срока комиссией по пересмотру дел политзаключенных, в июне того же года — полностью реабилитирован.

В тюрьме в 1954 году Д. Л. Андреев перенес обширный инфаркт миокарда, жить ему оставалось недолго, и он это ясно понимал, стараясь закончить задуманное.

Из двадцати трех месяцев, прожитых после освобождения, шесть он провел в больницах.

Рукопись романа «Странники ночи» и все стихи были изъяты у него при аресте и, видимо, безвозвратно пропали. Но написанное во Владимирской тюрьме чудом удалось спасти, и все двадцать три месяца свободы Даниил Андреев усиленно работал над своими рукописями, восстанавливал по памяти написанное до ареста.

То, какими непростыми оказались последние месяцы его жизни, сколько они требовали мужества и житейской стойкости, можно ощутить, читая строфы стихотворения 1958 года, обращенные к жене:

Нудный примус грохочет,
Обессмыслив из кухни весь дом:
Злая нежить хохочет
Над заветным и странным трудом.

Если нужно — под поезд
Ты рванешься, как ангел, за ним;

Ты умрешь, успокоясь,
Когда буду читаем и чтим.

Летом 1957 года тяжело больной поэт жил в деревне Копанево на берегу Оки. И здесь, после более чем сорокалетней разлуки, он увиделся со своим старшим братом. Вот как В. Л. Андреев рассказывал об этой встрече: «Я вошел в избу. В комнате, уставленной фикусами, на кровати, подпертый подушками, под маленькой лампой-коптилкой лежал мой двойник. Действительно, наше сходство в первые минуты показалось мне абсолютным: те же седеющие волосы, тот же лоб, то же худое лицо, тот же большой андреевский нос и складки у углов рта... Никто не помнил первых слов, произносимых после долгой разлуки. Да и не много этих бессвязных слов: главное — ощущение живых губ, небритых щек, костлявое плечо, которое не могут отпустить скрюченные пальцы... В тот вечер у Дани упала температура, и мы долго говорили, и тут произошло чудо этого неповторимого дня: очень скоро мы ощутили оба, что понимаем друг друга с полуслова, что начатая одним фраза заканчивается другим, как будто мы прожили всю жизнь вместе. Вдруг оказалось, что нет и не было сорокалетней разлуки, что две судьбы, столь непохожие, в сущности — одна судьба, одной русской семьи. Потом Даня читал мне свои стихи, и я был поражен тем, каким цельным, уже сложившимся поэтом он стал. Поразило меня его мастерство, то, с какой уверенностью и свободой он обращается со словом — трудолюбивый хозяин на своей земле»[1].

В зрелых своих стихотворениях Даниил Андреев покоряет своим мастерством — гибким и живым стихом, пронзительностью и многообразием интонаций, неожиданными и органичными строфическими построениями, высоким ладом богатого и точного языка.

Андреев — поэт романтического склада, поэтому так близки ему были Лермонтов и Блок.

Л. Н. Толстой, размышляя о Лермонтове, заметил, что он никогда не был «литератором». И для Блока «литератор модный, Только слов кощунственных «творец».

Даниил Андреев никогда не хотел, да и не мог быть «литератором», как и не мог быть поэтом, с душой, хотя бы иногда «вкушающей» «хладный сон». Он стал поэтом одной, но пламенной страсти поэтического познания исти-

---

[1] Звезда. 1965. № 10. С. 182—183.

ны. Потому говорил о своем стихе, что он нищ, понимая поэзию, как своеобразный и по-своему единственный метод этого познания. Он писал:

Кругом частушки, льется полька,
Но сердце кровью залит .
Предупреждаю?— Нет, не только.
Зову на помощь?— Нет, не то.

Мой стих — о пряже тьмы и света
В узлах всемирного узла.
Призыв к познанью — вот что это,
И к осмысленью корня зла...

Чтоб, прозревая глубь былую
И наших дней глухое тло,
Не петь осанн напропалую
И различать добро и зло.

Даниил Андреев видел выход для человечества, путь победы добра над злом прежде всего в духовности, которую понимал как дарованное нам четвертое измерение, и замечал, что

Как закатился век риторик,
Так меркнет век трехмерных школ...

Лирический мир Даниила Андреева действительно многомерен и по своей духовной сути не только мужествен, но и оптимистичен. Несмотря на его высокую трагедийность, в нем есть и «краски солнечной радости дня», строки возвышенной любви.

Умер Даниил Леонидович Андреев 30 марта 1959 года.

Посмертная судьба его литературного наследия складывалась непросто. Оно тщательно сохранено вдовой поэта А. А. Андреевой и по-настоящему приходит к читателю только сейчас, в наши дни, щедрые на публикации и открытия несправедливо замалчивавшихся имен.

Все творчество Даниила Андреева — это духовное преодоление, преодоление нашего вчера и сегодня. Называя себя «вестником завтрашнего дня», поэт добавлял, что «тех, кто сегодняшнему кадит, достаточно без меня», и верил в завтрашний день, утверждая что —

Он ничем не замглен,
он не знает ни войн, ни разрух;

Он лазурной дугой
голубеет в исходе столетья,
И к нему устремлен,
лишь о нем пламенеет мой дух.

Эта вера нам нужна сегодня, будет нужна завтра, и этой вере готова сопутствовать поэзия Даниила Андреева.

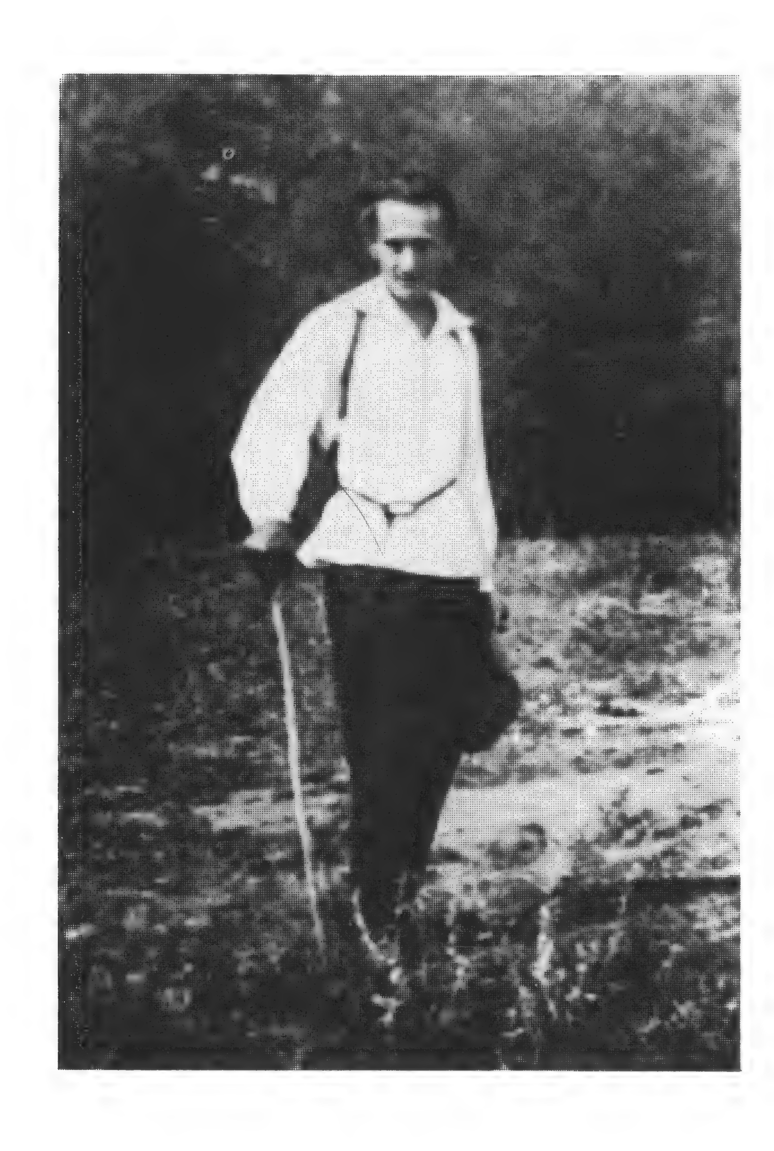
Борис Романов



Л. Н. Андреев и А. М. Андреева. 1906 г. Бутово



Д. Л. Андреев. 1930-е гг. Фото Е. И. Белоусова



Д. Л. Андреев. 1935 г. Брянские леса



Д. Л. Андреев. 1935 г. Брянские леса



Д. Л. Андреев. 1930-е гг.



Д. Л. Андреев. 1943 г.

Большой зал Консерватории

Вступаю в духовные волны
Под свод музыкальной вселенной,
Причастник ее вечерам,
Где смолкшими звуками полны
И купол, и воздух, и стены,
Как хорами стихшими — храм.

Не скрытые маскою чёрной,
Мерцают глубины роялей
Таинственным золотом дэк —
Лучиною нерукотворной,
Кипеньем магических далей,
Творящих на миг — и навек.

Люблю эти беглые блики
На струнах и лаке, а справа —
Сверканье серебряных жёрл,
Когда океан многоликий
Замкнуть берегами октав
Готов демиург — дирижёр.

Люблю этот трепет крылатый
Пред будущей бурей аккордов
Вокруг, надо мной и во мне,
И этот, закованный в латы
Готических образов, гордый
И тихий орган в глубине.

Он блещет светло и сурово,
И труб его стройные знаки
Подобны воздетым мечам
Для рыцарской клятвы у гроба, —
Подобны горящим во мраке
Высоким алтарным свечам.

А выше, в воздушных провалах,
Над сумраком бледным партера,
Над сонмами бронзовых бра,
Блистают в холодных овалах
Гонцы Мировой Сальватэрры —
Алмазной Вершины Добра.

На ясных эфирных устоях
Отрогов её запредельных
Есть мир гармонических сфер,
Для нас составляющих купол
Свободных, бесстрастных, бесцельных
Наитий, прозрений и вер.

И слушают молча колоссы
В своих вознесённых овалах
Сквозь отзвуки жизни былой,
Что здесь, на земле [illegible]
Ещё никогда не звучало:
Конец, — совершенство, — покой.

1950

Автографы стихотворений...

Этот стишок меньше всего подходит к такому изумительному сооружению, как Иван Великий, но что делать, если нет другой открытки!

ПОЧТОВАЯ КАРТОЧКА

<u>Ватсалья.</u>

Тихо, тихо тлело солнышко.
Я вздремнул на мураве...
А поблизости, у колышка,
На потоптанной траве
Пасся глупенький телёночек:
Видно, только из пелёночек,
А уже привязан здесь...
Длинноногий, рыжий весь.

Он доверчиво поглядывал,
Звал, просил и клянчил: му! —
Чем-то... (чем — я не угадывал)
Я понравился ему.
Так манит ребят пирожное...
И погладил осторожно я
Раз, другой и третий раз
Шёрстку нежную у глаз.
Ах, глаза! Какие жемчуги
Могут слать подобный свет?
Исходил-бы все края хоть ты,
А таких каменьев нет.

Как звезда за тёмной чащею,
В них светилась настоящая
(Друг, поверь! не пустословие!)
Возникавшая любовь.

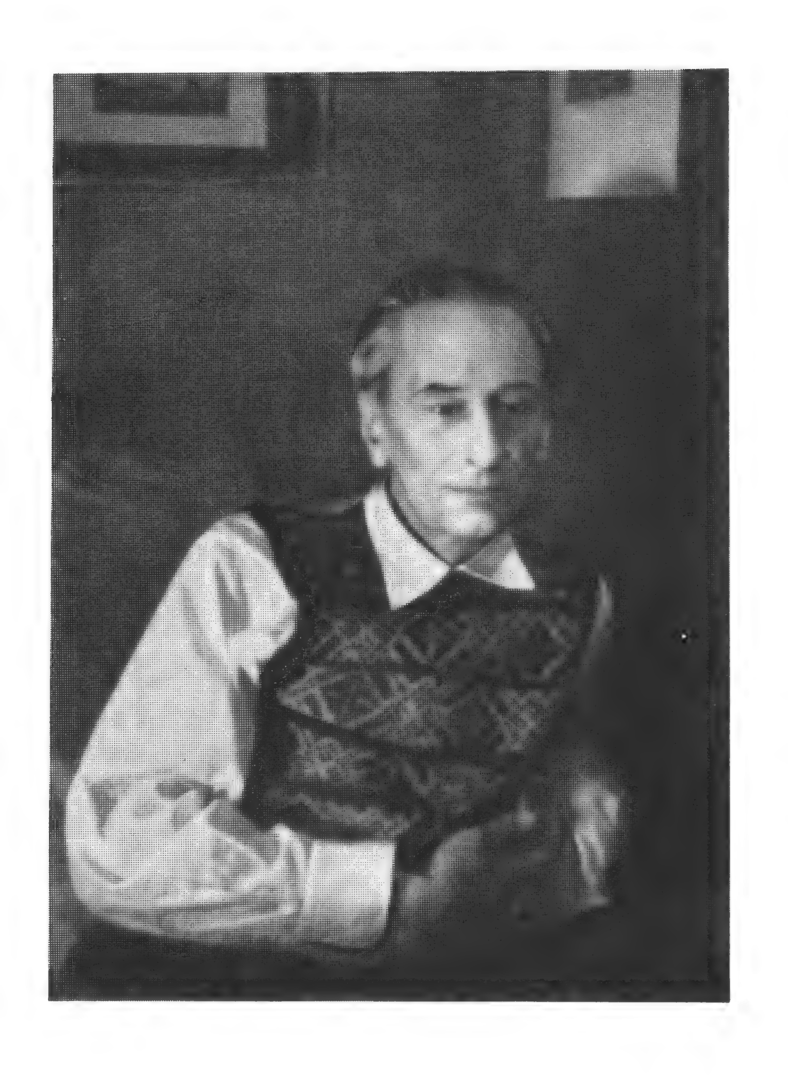
И, присев в траву на корточки,
Я почувствовал тотчас
Тыканье шершавой мордочки
То у шеи, то у глаз.
Если же я медлил с ласками,
Он, как мягкими салазками,
Гладил руки, палец ног,
Точно мой родной сынок.

Я не знаю: псы-ли, кони-ли
Понимают так людей,
Только мы друг друга поняли —
Без грамматик, без идей.
И когда в дорогу дальнюю
Уходил я, мне вдогон
Слал мычанье он печальное,
Точно всех милей был он.

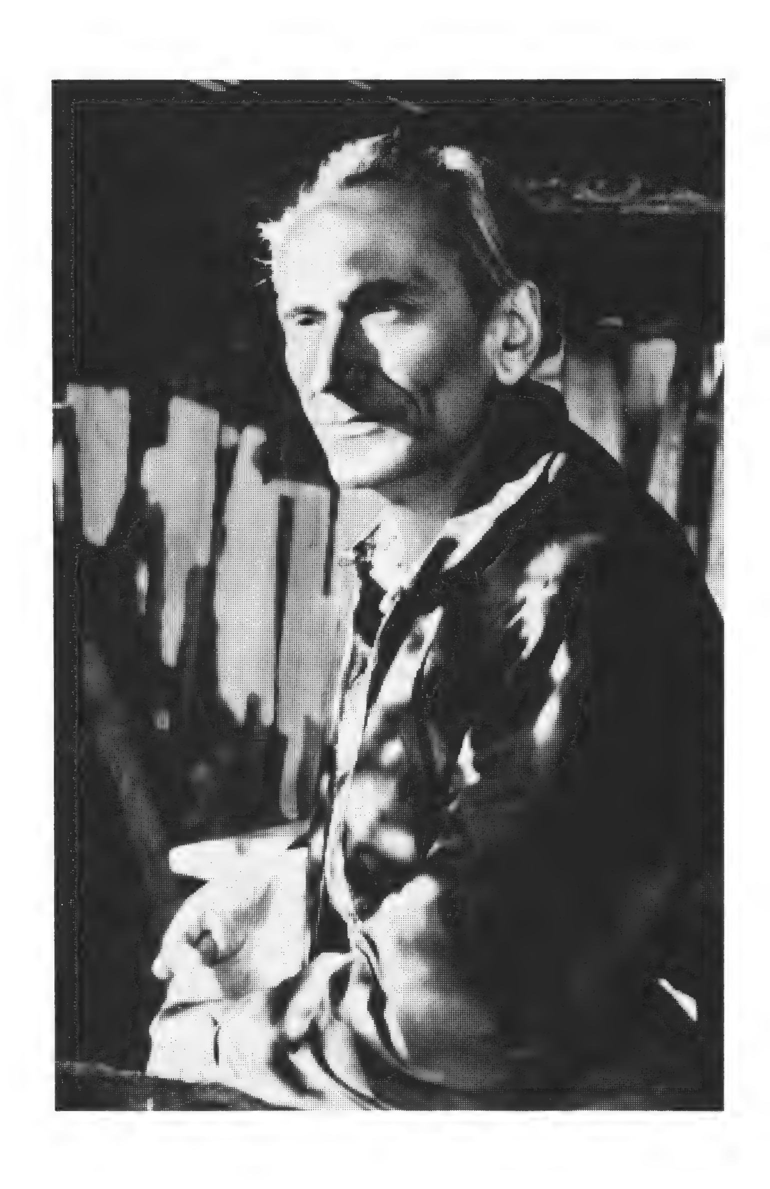
Цена 75 коп.

Изд. Фотокомбината «Союзторгреклама» Министерства торговли СССР
Л 80752 [illegible] г. 1-я типо-литография ГИМПЗ. Зак. 500. Тир. 25 000

Акад. А. П. Баранников в „Изобразит. средствах индийской поэзии" пишет: „Насколько глубоко не только в поэзии, но и в сознании индийцев жива идея о чистой любви и нежности коровы к телёнку, свидетельствует тот факт, что для обозначения наиболее совершенной, бескорыстной любви употребляется термин „ватсалья", производным от слова vatsa (телёнок). Буквальное значение слова vatsalya — „телячество": а у нас — только с грубой насмешкой: „телячьи нежности." Печально!



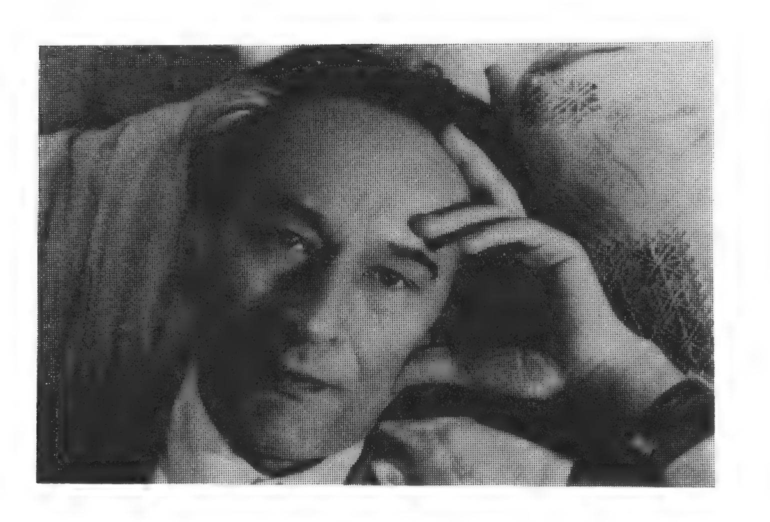
Д. Л. Андреев. 1957 г. Фото А. С. Веселовской



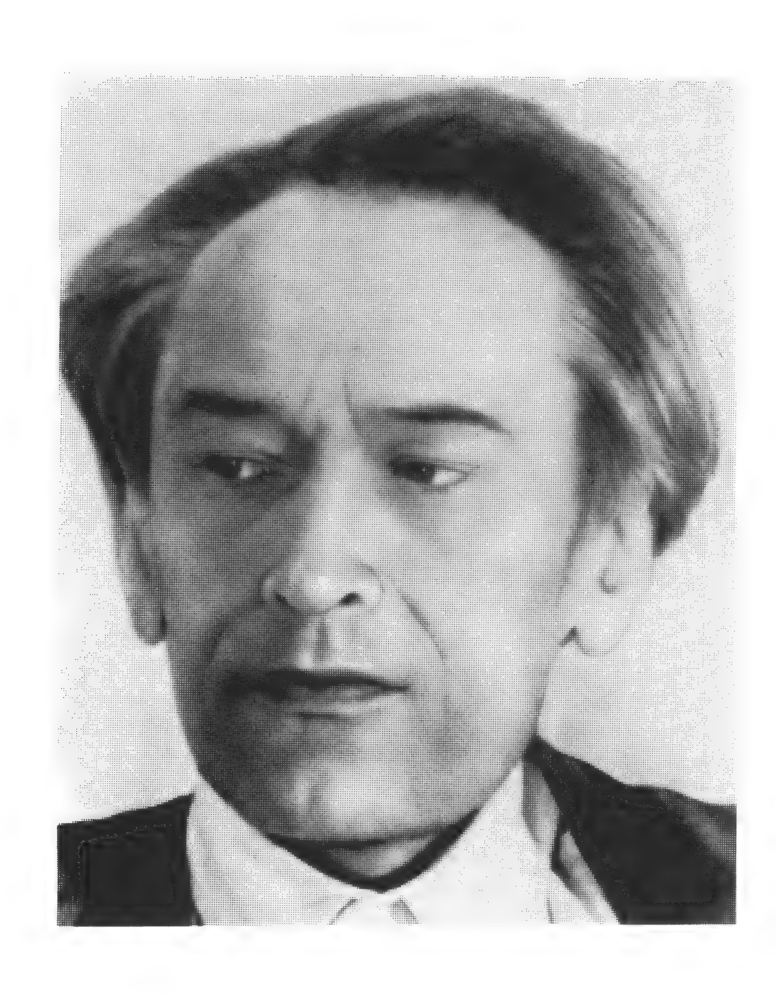
Д. Л. Андреев. Осень 1958 г. Горячий ключ



Д. Л. Андреев и А. А. Андреева. 24 февраля 1959 г.
Фото Б. В. Чукова



Д. Л. Андреев. 24 февраля 1959 г. Фото Б. В. Чукова



Д. Л. Андреев. 24 февраля 1959 г. Фото Б. В. Чукова

ПРИМЕЧАНИЯ

Настоящее издание впервые широко представляет поэтическое наследие Д. Л. Андреева.

Единственная, вышедшая доныне, его книга (Андреев Даниил. Ранью заревою. М.: Сов. писатель, 1975) была небольшой и давала одностороннее и неполное представление о его творчестве. В ней впервые опубликованы стих.: «Вы, реки сонные...», «Я люблю не о спящей царевне...», «Полет», «О, не так величава...», «Холодеющий дух с востока...», «Тихо, тихо плыло солнышко...», «Уж не грустя прощальной грустью...», «Заключение», «Исчезли стены разбегающиеся...», «Бор, крыши, скалы — в морозном дыме...», «Его любил я и качал...», «Она читает в гамаке...», «Собрав ребят с околицы...», «Есть кодекс прав несовершеннолетних...», «Окончание школы (Вальс на заре)», «Нет, младенчество было счастливым...», «Как чутко ни сосредотачиваю...», «Концертный зал», «Ленинская библиотека», «Художественному театру», «У памятника Пушкину», «Ладога» (Отрывки из поэмы «Ленинградский апокалипсис»).

Отдельные подборки стихотворений Д. Андреева в разные годы печатались в журналах: Звезда. 1965. № 10. Из неопубликованных стихов. Вступ. слово В. Андреева. «Вот блаженство — ранью заревою...», «Как участь эта легка...», На перевозе, Ливень, Птички, Серая травка; Звезда. 1966. № 10. Стихотворения: Следы, «Таится дремный мир сказаний...», «Ах как весело разуться в день весенний...», Соловьиная ночь, «И воздух поющий ветрами...»; Новый мир. 1987. № 4. Из литературного наследия: На великих перекатах времени. Предисл. Б. Чукова. О полузабытых, Родомыслы, «Враг за врагом. На мутном Западе...», «Вижу, как строится, слышу, как рушится...», Шквал, «Не блещут кремлевские звезды...», Размах, «Из шумных, шустрых, пестрых слов...», В пути, «Плывя к закату, перистое облако...», «За днями дни... Дела, заботы, скука...», «Этот двор, эти входы...», «Медленно зреют образы в сердце...», «Осень! свобода!.. Сухого жнивья кругозор...», «Чуть колышется в зное...», Последнему другу; Звезда. 1988. № 3. Слово о поэте. А. Вагин. Из цикла «Янтари»: «Усни, ты устала... Гроза отгремела...», «Свисток. Степную станцию готов оставить поезд...», «Кто там; медуза, маленький краб ли...», «И не избавил город знойный...», «Сохраню ль до поздних лет, до старости...»; Нева. 1988. № 9. Свет из тьмы. Вступ. слово М. Ду-

дина. «Есть праздник у русской природы...», «Поздний день мой будет тих и сух...», Без заслуг, «Про всенародное наше вчера...», «О, не так величава...», Сквозь тюремные стены.

В основу композиции книги положен авторский план поэтического ансамбля «Русские боги» и его разделение стихотворений на циклы, которые представлены не полностью, а лишь наиболее выразительными, по мнению составителя, произведениями.

Тексты воспроизводятся по рукописям, хранящимся в архиве А. А. Андреевой.

СТИХОТВОРЕНИЯ И ПОЭМЫ

В этот раздел вошли произведения, не включенные Д. Андреевым в поэтический ансамбль «Русские боги».

ВОСХОД ДУШИ

«Бор, крыши, скалы — в морозном дыме...». *Ваммельсуу* — в переводе с финск.: Черная Речка; деревушка под Петербургом. В стих. описывается дом отца поэта Л. Н. Андреева (1871—1919).

Игрушечному медведю, пропавшему при аресте. В «Розе Мира» Д. Андреев писал: «...правее не мы, а дети, свято верящие в живую природу своих игрушек и даже в то, что они могут говорить... чем более любим плюшевый медвежонок, чем больше изливается на него из детской души нежности, тепла, ласки, жалости и доверия, тем плотнее в нем сосредоточивается та тончайшая материя...».

«Она читает в гамаке...» *Фройлен* — от нем., здесь: гувернантка. *Шляфен* (schlafen — нем.) — спать.

Старый дом *Ф. А. Добров* (1869—1941) — см. послесловие. Деревянный дом постройки первой половины XIX в. не сохранился; см. послесловие.

РАЗНЫЕ СТИХИ

«За днями дни... Дела, заботы, скука...» *Прозренье Иоанна...*— «В откровении святого Иоанна Богослова» (3,15) в Новом завете говорится: «...ты ни холоден, ни горяч; о если бы ты был холоден или горяч!»

«Все безвыходней, все многотрудней...» Это стих., как и последующие, помеченные инициалами А. А., посвящено Алле Александровне *Андреевой*, жене поэта. *В какой же ты ныне// Беспросветной томишься глуши.*— А. А. Андреева была арестована вместе с мужем и с 1947 по 1956 г. находилась в лагере.

КРЕСТ ПОЭТА

Эпиграф из стих. М. А. *Волошина* (1877—1932) «На дне преисподней».

Грибоедов. *Грибоедов* Александр Сергеевич (1795—1829) — драматург, поэт, дипломат. *Клирос* — возвышение перед иконостасом для хора.

Гумилев. *Гумилев* Николай Степанович (1886—1921) — поэт.

Хлебников. *Хлебников* Виктор (Велемир) Викторович (1885—1922) — поэт. «*Ка*»— повесть В. В. Хлебникова; в египетской миф. один из элементов человеческой сущности, второе «я».

УСТЬЕ ЖИЗНИ

«Поздний день мой будет тих и сух...» *Притин* — здесь: солнцепек, место, опекаемое полуденным солнцем.

ЗЕЛЕНОЮ ПОЙМОЙ

Русские октавы. *Прокимн* — в церковной службе стихи, произносимые чтецом и повторяемые клиром и выражающие смысл последующей службы. *В моленьи клирном;* клир — священнослужители, духовенство; хор певчих.

Весной с холма. *Демиург* — творец; см. послесловие. «*Разливы рек ее, подобные морям...*»— строка из стих. М. Ю. Лермонтова «Родина» (1841).

ЯНТАРИ

Цикл посвящен Марии Павловне Гонте.

«Усни,— ты устала... Гроза отгремела...» *Дафнис и Хлоя* — герои одноименного любовно-буколического романа Лонга, др. греч. писателя II—III вв. до н. э.

«Убирая завтрак утренний...» *Литургийная парча;* литургия — главное христианское богослужение. *Иерей* — священник. *Подир* — риза ветхозаветных священников.

НЕМЕРЕЧА

Е. М. Доброва (рожд. Велигорская; 1871—1943); см. послесловие.

В «Розе Мира» о своем путешествии, описанном в поэме, Д. Андреев рассказывал: «Однажды я предпринял одинокую экскурсию, в течение недели странствуя по Брянским лесам. Стояла засуха. Волокнами синеватой мглы тянулась гарь лесных пожаров, а иногда над массивами соснового бора поднимались беловатые, медленно менявшиеся дымные клубы».

Глава первая. *Гарвэй* Габриэль (1550—1630) — английский писатель, автор писем о природе. *Нарбада, Ганг, Джумна* — реки в Индии. *Нерусса* — река в Брянской области, приток Десны. *Рум* — распространенное в странах востока название Рима и Римской империи. *Шива* — один из главных богов в индуизме. *Нергал* — бог войны и охоты у вавилонян и ассирийцев. *Гекатомба* — у др. греков грандиозное жертвоприношение; массовая бесполезная гибель людей.

Глава вторая. *Бонзельс Вольдемар* (1880—1952) — немецкий

писатель-натуралист; эпиграф взят из его книги «В Индии», выходившей в русском переводе в 1916 г.

Глава третья. *Новалис* (наст. имя Фридрих фон Харденберг; 1772—1801) — немецкий писатель, философ; эпиграф из его цикла «Гимны к ночи». *Сережа М.*— Сергей Николаевич Ивашев-Мусатов (р. 1900). *Вервь* — здесь: веревка. *Стихиали* — см. послесловие. *Сальватерра* — в миф. Д. Андреева — вершина и сердце Шаданакара; см. послесловие.

РУССКИЕ БОГИ

В предисловии к книге «Русские боги» Д. Андреев в октябре 1955 г. писал: «Книга «Русские боги» состоит из большого количества последовательных глав или частей, но все они объединены общей темой и единой концепцией... Все они — звенья неразрывной цепи; они требуют столь же последовательного чтения, как роман или эпопея. В подобном жанре в целом можно усмотреть черты сходства с ансамблем архитектурным; поэтому мне представляется уместным закрепить за ним термин поэтический ансамбль».

СВЯТЫЕ КАМНИ

Василий Блаженный. *Василий Блаженный* — Покровский собор, построенный в 1555—1561 гг. зодчими *Бармой* и *Постником*. *Крин* — др. славянское название лилии. *Гамаюн* — сказочная райская птица с женским лицом и грудью; вещая птица. *Алконост* — сказочная птица с человеческим лицом; птица печали. *Акафист* — церковные службы из хвалебных песнопений и молитв в честь Иисуса Христа, богородицы и святых. *Схима* — высшая монашеская степень, требующая выполнения суровых аскетических правил.

Художественному театру. *Пер Гюнт* — герой одноименной пьесы норвежского драматурга Г. Ибсена (1828—1906). *Таль* — оттепель. *Здесь мертвенно-белым гротеском Андреев.*— В Художественном театре была в 1907 г. поставлена пьеса Л. Н. Андреева «Жизнь человека». *За Белою Чайкой* — образ из пьесы А. П. Чехова «Чайка», ставший эмблемой Художественного театра. *За Синей Птицей.*—«Синяя птица»— пьеса бельгийского драматурга М. Метерлинка.

У телескопа. Туманность Андромеды. В «Розе Мира» Д. Андреев писал: «...кто будет созерцать в рефлектор великую *туманность Андромеды*, увидит воочию другую галактику, не знавшую демонических вторжений никогда. Это мир, с начала до конца восходящий по ступеням возрастающих блаженств». По воспоминаниям В. М. Василенко в 20-е и 30-е гг. Д. Андреев глубоко интересовался астрономией. *Рефрактор* — телескоп, в котором изображение получается при помощи преломления света в линзе. *Цефеиды* — звезды с периодичными колебаниями блеска.

Большой зал консерватории. Стих. посвящено С. Н. Ивашеву-Мусатову.

Каменный старец. *Храм Христа* — храм, построенный в 1837—1883 гг. в память Отечественной войны 1812 г.; в 1930-е гг. уничтожен в связи с планом реконструкции Москвы. *Закомары* — полукруглые верхние части стен древнерусских храмов.

Большой театр. Сказание о Невидимом граде Китеже. Опера *«Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии»* Н. А. Римского-Корсакова была поставлена в Большом театре в 1907 г.

СИМФОНИЯ ГОРОДСКОГО ДНЯ

Часть первая. Будничное утро. *Саратовский* — старое название Павелецкого вокзала. *Ржевский* — так с 1942 по 1946 г. назывался Рижский вокзал.

Часть вторая. Великая реконструкция. *Великая реконструкция* — реконструкция Москвы на основе Генерального плана (так наз. «Сталинский план»); принята в 1935 г. В связи с ним в 1933—1935 гг. были снесены многие исторические сооружения. План выполнялся в предвоенные годы и в 1946—1950 гг. *Последний Рим* или третий Рим; Русь как преемницу Римской империи и Византии впервые назвал третьим Римом Филофей, игумен Трехсвятительского Псковского монастыря, писатель XVI в. *Борим инспирацией двух* — т. е. побуждаемый борьбой, видимо, по миф. Д. Андреева, Яросвета и Гагтунгра — темного демона человечества; см. послесловие. *Панагия* — небольшая круглая икона богоматери, носится епископами на груди. *Спешим мы в Каноссу.* Идти в Каноссу — открыто признать себя побежденным; от названия замка в сев. Италии, где германский император Генрих IV вымаливал прощения у папы Григория VII. *Инфильтраты* — продукт инфильтрации; инфильтрация — скопление в тканях чужеродных элементов. *Фагоциты* — органическая клетка, способная поглощать и переваривать твердые вещества и бактерии. *Монада.* Как и в философии Лейбница, у Д. Андреева монада — первичная, неделимая, бессмертная духовная единица.

Часть третья. Вечерняя идиллия. *Сатураторы* — приборы для насыщения жидкости газом. *Левиафан* — в Библии (Иов 40, 20—21, 26) морское животное, описываемое как крокодил, гигантский змей или чудовищный дракон.

ТЕМНОЕ ВИДЕНИЕ

Столица ликует. Триптих

1. Праздничный марш. *Кафр* — устаревшее название представителя южно-африканских племен.

2. Изобилие. *Хала* — витой белый хлеб продолговатой формы.

Гипер-пеон. *Гипер-пеон*; пеон — стихотворный размер в античном стихосложении, стопа в котором состоит из четырех слогов.

ИЗ МАЛЕНЬКОЙ КОМНАТЫ

«Враг за врагом...» Входило в несохранившуюся поэму «Германцы». *Кернер* Карл Теодор (1791—1813); *Арндт* Эрнст Мориц (1769—1860) — немецкие писатели, участники войны с Наполеоном.

«Еще, в плену запечатанных колб...» *Капище* — языческий храм у славян.

Размах. *Рух* — движение (старорусск.); см. примеч. Д. Андреева к поэме «Рух».

Шквал. Входило в несохранившуюся поэму «Германцы». *Валгалла* — в скандинавской миф. дворец бога Одина, обиталище душ воинов, павших в бою. *Один* — верховный бог, бог войны и победы, покровитель героев, погибших в бою.

«Не блещут кремлевские звезды...» Входило в несохранившуюся поэму «Германцы». *Мрежи* — сети. *Апокалипсис* — «Откровение святого Иоанна Богослова», одна из книг Нового завета, пророчествующая о конце света.

«Ты еще драгоценней...» *Авиценна* — латинизированное имя Ибн Сины (980—1037) — таджикского ученого, философа, врача, поэта; с его повестью «Живой, сын Бодрствующего» связывают сюжет «Божественной комедии» Данте. *Иштар* — в аккадской миф. верховное женское божество.

«И вот закрывается теплый дом...» *Яросвет* — в миф. Д. Андреева «...один из великих демиургов человечества, народоводитель Российской метакультуры». (Примеч. Д. Андреева к «Розе Мира».)

ЛЕНИНГРАДСКИЙ АПОКАЛИПСИС

Эпиграф из стих. Ф. И. *Тютчева* «Цицерон» (1830). *Карма* — «закон возмездия», в буддизме и индуизме, посмертное воздаяние за земную жизнь, деятельность человека в последующих перевоплощениях. В широком философском смысле — причинно-следственная закономерность. *Древляне* — племя восточных славян. *Стрибог* — в славянской миф. бог ветра. *Сувой* — сугроб с застругами. *Порфира* — пурпурная мантия, символ монаршей власти. *Победные ростры.* — В Др. Риме рострой называлась трибуна, украшенная носами кораблей — рострами, захваченными у врага. *Хроматика* — здесь, видимо, хроматический звукоряд. *Аура* — букв.: дуновение ветерка, нематериальное излучение, исходящее от кого-либо. *Квинта* — пятая, самая высокая струна у некоторых струнных инструментов. *Перистальтическое движение* — червеобразные движения полых органов. *Адамант* — алмаз. *Гог и Магог* — в Ветхом завете воинственные антагонисты «народа божьего». *Синклит России* — по миф. Д. Андреева сонм просветленных душ России. *Родомыслы*— см. послесловие.

НАВНА

В «Розе Мира» Д. Андреев писал: «Кто она, *Навна*? То, что объединяет русских в единую нацию; то, что зовет и тянет отдельные русские души ввысь и ввысь; то, что овевает искусство России неповторимым благоуханием; то, что надстоит над чистейшими и высочайшими образами русских сказаний, литературы и музыки; то, что рождает в русских душах тоску о высоком...» *Метакультура* — по Д. Андрееву, система из нескольких слоев Шаданакара (см. послесловие), включающая какой-либо народ. *Фирн* — крупнозернистый слежавшийся снег в горах. *Грааль* — в христианских апокрифах средневековья — чаша с кровью распятого Христа, охраняемая рыцарями в таинственном замке, куда открыт путь только чистым душой. *Златоуст* — константинопольский патриарх, христианский оратор Иоанн Хризостом (между 344 и 354—407 гг.). *Назарей* — Иисус Христос. *Духи Вайиты, Фальторы, Лиурны, Нивенны* — олицетворение различных стихиалей (см. послесловие) в миф. Д. Андреева. *Афродита народная* — Афродита — в др. греч. миф. богиня любви и красоты; от др. греч. философа Платона идет противопоставление Афродиты небесной и Афродиты всенародной, олицетворяющей плотскую любовь. *Нагорная заповедь.*— Нагорная проповедь, с которой Христос обратился к народу (согласно Евангелиям от Луки и Матфея) начиналась с заповедей. *Галлилея* — так в I в. н. э. называлась область Иудеи. *Фавор* — гора в 9 км. от Назарета, где, по преданию, произошло преображение Христа. *Стихира* — церковное песнопение на библейские мотивы, состоящее из многих стихов одного размера. *Сорокоуст* — в православии молитва об умершем в течение сорока дней после смерти. *Сита* — в индийской миф. богиня пашни. *Радха* — в индуистской миф. пастушка, возлюбленная Кришны. *Гудруна,* Гудрун — героиня скандинавского эпоса, мстительница. *Фрэя,* Фрейя — в скандинавской миф. богиня плодородия, любви, красоты. *Руфь* — героиня ветхозаветных преданий («Книга Руфи»). *Антигона* — героиня др. греч. миф. и одноименной трагедии Софокла. *Эсфирь* — героиня ветхозаветного предания, спасшая свой народ. *Галатея* — в др. греч. миф. морское божество; героиня мифа о Пигмалионе. *Джиоконда* — картина Леонардо да Винчи, изображающая монну Лизу, жену Франческо Джокондо. *Маргарита* — героиня «Фауста» И. В. Гете. *Глиссада* — прямолинейная траектория. *Тимур* — Тамерлан (1336—1405) — среднеазиатский полководец-завоеватель. *Ассаргадон* — ассирийский царь (680—669 до н. э.).

СВЯТОРУССКИЕ ДУХИ

Родомыслы. *Монсальват.*— На мифической горе Монтсальват хранился святой Грааль; см. примечание к поэме «Навна».

ГИБЕЛЬ ГРОЗНОГО

Стих о вещем Пимене //В хмуром Чудовом монастыре.— Имеется в виду сцена «Ночь. Келья в Чудовом монастыре» в «Борисе Годунове» А. С. Пушкина. *Иоанн Третий,* Иван III Васильевич — великий князь московский (1440—1505) с 1462 г. *Калита* — Иван I Данилович, князь московский с 1325, ум. в 1340 г. *Трикирий* — подсвечник для трех свечей. *Цата* — подвес, прилагаемый к иконам. *Домострой* — литературное произведение XVI в. *Сильвестра,* священника московского Благовещенского собора; Д. Андреев в «Розе Мира» писал: «Домострой» есть попытка создания грандиозного религиозно-нравственного кодекса, который должен был установить и внедрить в жизнь именно идеалы мирской, семейной, общественной нравственности». *Велги* — в миф. Д. Андреева демоны женской природы, умножительницы жертв и вдохновительницы анархий. Уподобить их чему-либо нельзя, по словам Д. Андреева, это «огромные, свивающиеся и развевающиеся покрывала, черные и лиловые». У каждого народа одна Велга. *Адашев* Алексей Федорович (ум. 1561) — русский государственный деятель; возглавлял инженерные работы во время осады Казани в 1552 г. *Давид* — царь-воитель в Ветхом завете. *Уицраор* — см. послесловие. *Синодик* — книжка с записями имен умерших для поминания их во время богослужения. *Омофор* — часть епископского облачения, надеваемая на плечи.

РУХ

Часть первая. *Перун* — в славянской миф. бог дождя, молнии и грома, главный бог славянского пантеона. *Ектинья* — часть православного богослужения. *Арай* — низкий сырой луг на пойме. *Сыроерь* — низкое, сырое урочище. *Узни* — от узы — оковы.

Часть вторая. *Даймон* — см. послесловие. *Шуйские* — княжеский и боярский род в России XV—XVII вв. *Бельские* — княжеский и боярский род XV—XVI вв. *Тоуриться* — дико, грозно смотреть, сердиться. *Был у Лобного места Василий // В тяжесть барм облачен. Василий Иванович Шуйский* (1552—1612) — 19 мая 1606 г. группа приверженцев «выкрикнула» его царем на Красной площади.

Часть третья. *Райкий* — звучный, гулкий. *Шня* — товарищ, второй из пары. *Тушинский вор* — прозвище Лжедмитрия II. *Чаруса* — топкое болото. *Юшман* — доспех с кольчужными рукавами. *Милоть* — одежда из овчины. *Чмур* — опьянение, угар. *Михаил Скопин* — Скопин-Шуйский Михаил Васильевич (1586—1610) — русский государственный и военный деятель. *Федор Годунов* — сын Бориса Годунова, провозглашенный царем; убит 1 июня 1605 г. в результате восстания горожан Москвы. *Гермоген* (не позже 1530—1612) — с 1606 г. патриарх; польские интервенты уморили его в тюрьме голодом. *Зернь* — здесь, видимо, игра в зернь. *С бе-*

совского Тушина — село Тушино, подмосковный лагерь и резиденция Лжедмитрия II. *Минин* (Сухорук) Козьма (ум. 1616) — один из организаторов и руководителей второго ополчения в период польской и шведской интервенции; нижегородский посадский человек. *Пожарский* Дмитрий Михайлович (1578—1642) — государственный и военный деятель, один из руководителей второго ополчения. *Он, кто богом Петербурга //Чрез столетье станет здесь* — имеется в виду Жругр II.

БОСИКОМ

В «Розе Мира» Д. Андреев писал: «...обувь является... основной преградой между нашим организмом и излучением земли. При этом подтвердится, что ходить босыми полезно не только среди природы, где почва издает излучения стихиалей, но и в населенных местах, где убывание этих излучений восполняется эманацией жизненной силы человечества. ...Земля, по которой мы до сих пор равнодушно ступали, тупо отзываясь лишь на крайний жар или холод, теперь заговорит с нами живым языком. Она заговорит через наши, смеющиеся от радости подошвы ног то шаловливыми восклицаниями ручьев и лужиц, то покалывающим смехом валежника и хвои в бору, то взволнованным речитативом сухой дороги...»

Звезда скитаний. О своих путешествиях Д. Андреев в «Розе Мира» писал: «Это были уходы на целый день, от зари до заката, или на 3-4 дня вместе с ночевками — в леса, в блуждание по проселочным дорогам и полевым стежкам, через луга, лесничества, деревни, фермы, через медленные речные перевозы, со случайными встречами и непринужденными беседами, с ночлегами — то у костра над рекой, то на поляне, то в стогу, то где-нибудь на деревенском сеновале». «Осень! Свобода!.. Сухого жнивья кругозор...» *Антар* — звезда Антарес, альфа Скорпиона; через его знак солнце проходит в октябре.

ПРИЛОЖЕНИЕ

РОЗА МИРА. ФРАГМЕНТЫ

Здесь публикуются фрагменты из десятой книги «К метаистории русской культуры» «Розы Мира». (О «Розе Мира» см. послесловие.) Все сокращения в тексте обозначены отточием.

ДАР ВЕСТНИЧЕСТВА. ФРАГМЕНТЫ «ГЛАВЫ ПЕРВОЙ».

Я изысканность русской медлительной речи... — из стих. К. Д. Бальмонта (1867—1942). *Мой стих дойдет...*— строки из поэмы В. В. Маяковского (1893—1930) «Во весь голос». *Монферан*

Август Августович (1786—1858) — русский архитектор, декоратор и рисовальщик. *Тон* Константин Андреевич (1794—1881) — русский архитектор. *С оды «Бог».* Ода «Бог» (1784) — произведение Г. Р. Державина (1743—1816).

Миссии и судьбы. Фрагменты «Главы второй», «Главы третьей» и «Главы четвертой».

Инвольтация — от лат. involuta — отемнение. *Графиня Гвиччиолли,* Тереза Гвиччиолли (урожд. Гамба; 1800—1873) — возлюбленная Байрона, оставила воспоминания о поэте. *Шпенглер* Освальд (1880—1936) — немецкий философ-идеалист. *Настасья Филипповна* — героиня романа Ф. М. Достоевского «Идиот». *Катерина Ивановна, Соня Мармеладова, Раскольников* — герои романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание». *Сольвейг* — героиня драматической поэмы Г. Ибсена — «Пер Гюнт». Das Eiwig Weibliche zieh uns hinahn — цитата из «Фауста» И. В. Гете. *Карл Иванович* — герой повести Л. Н. Толстого «Детство. *Ростовы, Пьер, Николай, Соня* — герои романа «Война и мир». *Левин* — герой романа «Анна Каренина». *Отец Сергий* — герой одноименного рассказа. *Афина* — в др. греч. миф. богиня мудрости и справедливой войны. *Артемида* — в др. греч. миф. богиня охоты, луны. *Деметра* — в др. греч. миф. богиня плодородия и земледелия. *Девять муз* — в др. греч. миф. богини поэзии, искусств, наук. *Елена, Андромаха, Пенелопа* — героини др. греч. эпоса. *Федра* — героиня греч. миф., дочь критского царя Миноса. *Фригга* — в скандинавской миф. богиня брака, любви. *Валькирии* — в скандинавской миф. девы, дарующие по воле Одина победы в битвах. *Брунгильда, Кримгильда* — героини скандинавского эпоса. *Сарасвати* — в индийской миф. река и ее богиня. *Лакшми* — богиня счастья, богатства и красоты. *Кали* — в индуистской миф. одна из ипостасей Деви или *Дурги,* жены Шивы, олицетворение губительного аспекта его божественной энергии. *Ярила* — в славянской миф. божество весеннего плодородия. *Аарон* — в Ветхом завете первый в череде первосвященников. *«Накануне»* — роман И. С. Тургенева. *«Живые мощи»* — рассказ из «Записок охотника». *Грушенька Светлова, Лиза Хохлакова* — героини романа Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы». *Мария Тимофеевна Лебядкина* — героиня романа «Бесы». *Волконская и Трубецкая* — героини поэмы Н. А. Некрасова «Русские женщины». *Катерина* — героиня драмы А. Н. Островского «Гроза». *Марфа* — героиня оперы М. П. Мусоргского «Хованщина». *Мать Манефа и Фленушка* — героини романов П. И. Мельникова-Печерского «В лесах» и «На горах». *Рудин* — герой одноименного романа И. С. Тургенева. *Лаврецкий* — герой романа «Дворянское гнездо». *Литвинов* — герой романа «Дым». *Елена, Инсаров* — герои романа «Накануне». *Звента-Свентана* — в миф.

Д. Андреева выразительница Вечной Женственности, дочь Яросветана и Навны (см. послесловие); в человечестве она проявится Всемирным братством — Розой Мира. *Княгиня Ольга* (890—969) — великая княгиня киевская, жена Игоря. *Марфа Посадница* — Марфа Борецкая, глава нижегородских бояр, враждебных Ивану III. *Боярыня Морозова* — Морозова Феодосия Прокофьевна (1632—1675) — деятельница русского раскола. *Соловьев Владимир* Сергеевич (1853—1900) — русский религиозный философ, поэт, публицист, критик. *Андрей Белый* — псевдоним Бугаева Бориса Николаевича (1880—1934) — поэт, прозаик, критик. *Соловьев Сергей* Михайлович (1885—1942) — поэт, переводчик, критик. *Булгаков* Сергей Николаевич (1871—1944) — русский религиозный философ, богослов, экономист. *Мережковский* Дмитрий Сергеевич (1866—1941) — русский писатель. *Блок не был «Рыцарем бедным»* — см. стих. А. С. Пушкина «Жил на свете рыцарь бедный...». *В протянутой руке Петра...* — здесь и далее речь идет о стих. А. Блока «Петр» (1904). *Волхова* (рожд. Анциферова) Наталья Николаевна (1878—1966) — актриса драматического театра В. Ф. Комиссаржевской.

СОДЕРЖАНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ

Андреев Д. Л.

A65 Русские боги: Стихотворения и поэмы / Сост. и подготовка текста А. А. Андреевой; Предисл. М. Дудина; Послесл. и примеч. Б. Романова.— М.: Современник, 1989.—397 с., фотоил.— («Феникс»).

ISBN 5-270-00565-4

Книгу Даниила Андреева (1906—1959) составили избранные стихотворения и поэмы, впервые широко представляющие читателю его творчество. Используя своеобычные мифологические и романтические образы, поэт страстно размышляет о путях России, о трагических событиях родной истории. В поэме «Ленинградский апокалипсис», где фантастические видения соседствуют с конкретно-пережитым, рассказывается об эпизодах обороны Ленинграда, участником которой был Д. Андреев. Поэмы «Гибель Грозного» и «Рух» повествуют о тревожных моментах русской истории. В поэмах и лирических циклах книги встает поэтически своеобразное и трагическое мироощущение, в котором трагизм сочетается с высокими надеждами, с устремленностью к добру и свету.

A $\frac{4702010200-256}{М106(03)-89}$ 176-89 ББК84Р7

АНДРЕЕВ Даниил Леонидович

РУССКИЕ БОГИ
Стихотворения и поэмы

Редакторы **В. А. Пальчиков, Б. Н. Романов**
Художник **А. Т. Троянкер**
Художественный редактор **Е. В. Андреева**
Технический редактор **Н. В. Ганина**
Корректоры **Г. А. Голубкова, Т. Г. Люборец**

ИБ № 5470

Сдано в набор 19.12.88. Подписано к печати 10.09.89. А03006. Формат 84×100[1]/32. Гарнитура Таймс. Печать офсетная. Бумага тип. № 1. Усл. печ. л. 19,5. Усл. кр.-отт. 39,19. Уч.-изд. л. 16,64. Тираж 50 000 экз. Заказ 246. Цена 1 р. 50 к.

Издательство «Современник» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли и Союза писателей РСФСР
123007, Москва, Хорошевское шоссе, 62

Полиграфическое предприятие «Современник» Государственного комитета по делам издательств, полиграфии и книжной торговли
445043, Тольятти, Южное шоссе, 30

1 р.50 к.

Даниил Андреев